

18+

Нина Юшкова

Сквозь гранит

Роман. Повести



Нина Юшкова

Сквозь гранит. Роман. Повести

«Издательские решения»

Юшкова Н.

Сквозь гранит. Роман. Повести / Н. Юшкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-530102-4

«Сквозь гранит» — это сборник, включающий роман и четыре повести. Это истории женщин, реалистические и не очень, героини которых сталкиваются с кошмарными по сути, но рядовыми жизненными ситуациями, и находят в себе мужество, мудрость и любовь, чтобы преодолеть обстоятельства и прожить долгий человеческий век.

ISBN 978-5-00-530102-4

© Юшкова Н.
© Издательские решения

Содержание

Анна фон Доннерсгейм	6
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Сквозь гранит Роман. Повести

Нина Юшкова

© Нина Юшкова, 2020

ISBN 978-5-0053-0102-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Анна фон Доннерсгейм

Часть I

Затеваю этот роман, уже многие (бесчисленные, хочется сказать) годы находясь в унылом, сумеречном, вялом состоянии души, единственно с целью пережить ещё раз надежды и волнения своей юности, а также, конечно, и горе и разочарование, но горе и разочарование в воспоминаниях моих не так убийственны, как они были тогда, наяву, и всё-таки лучше, чем безнадежная, беспросветная пустыня, упирающаяся в смерть, что лежит передо мной; а радости сделать более выпуклыми и смаковать их опять, долго, растягивая время описания, ибо не властны мы над реальным временем события, но имеем полную власть над временем воспоминания. (Однако признаю, что реальное событие, это нечаянное счастье, этот подарок судьбы, потрясает и душу и тело несравненно с памятью о нём.) И чисты воспоминания от неразрешённых проблем, ведь в прошлом так или иначе всё разрешилось, а настоящий момент частенько омрачён тенью дамоклова меча очередной проблемы, но не умею я наслаждаться жизнью в тени дамоклова меча. Возможно, и эта простирающаяся теперь передо мной пустыня приготовила мне такие удары, пред которыми прежние мои беды покажутся мелочью, но я искренне молюсь и уповаю на милость Божию, что пожалует Он ближних моих, и, конечно же, не они будут темой моего романа, а люди ушедшие или отдалившиеся от меня на безопасное расстояние, чтобы, будучи занесёнными на страницы сии, не спровоцировать мстительной Судьбы, ибо она не терпит тех, кто слишком мозолит ей глаза.

Безусловно, многие описываемые события покажутся вам гипертрофированными под призмой моего личного восприятия, по сути мелкими, рядовыми, неинтересными, но тут уж, надеюсь, вступят в силу красоты стиля, которые, подобно солнечному лучу, пробирающемуся сквозь листья и делающему из воробья горихвостку, призваны скрасить серое и сыграть роль чуда.

Итак... Бабка моя, Щтольц Анна Михайловна, родилась в 1910 году и, поживши 90 с лишком лет, умерла уже в 21 веке, то есть совсем недавно от дня сегодняшнего. Воспитанная в большой семье обедневшей дворянской интеллигенции, среди прочих братьев и сестёр боннами и гувернантками, она, несмотря на то, что прожила весь 20-й (без первых 10 лет, разумеется), оставалась носителем той интеллигентской, дворянской, разночинской культуры, которая была свойственна веку 19-му и к которой принадлежали её родители. И никакого противоречия тут нет, совершенно естественным образом в ней уживались гордость за благородное происхождение, некоторое высокомерие по отношению к «пролетариату», и потребность брать на себя горести всех окружающих, вне зависимости от их социального статуса. Да, впрочем, вы увидите дальше, что я имею в виду.

Что-то было в ней такое, какое-то сито, плотина, шлюз, сооружённое, надо полагать, теми же боннами и гувернантками, что как бы отсеивало, фильтровало явления двадцатого века, пропуская внутрь только то, что органично связывалось с фундаментом, заложенным в детстве.

Показательным, как мне кажется, является встреча с самым ярким, самым знаковым поэтом нового (XX) века, сконцентрировавшем в себе всё то, что век XX мог тогда противопоставить культуре века XIX. Когда Маяковский выступал в университете, был большой ажиотаж, зал был битком набит, все шумели, галдели и старались всячески спровоцировать Маяковского. Бабушка с подружкой тоже написали записку: «Маяковский, почему у вас такая безобразная жёлтая кофта?» На что поэт им ответил в том духе, что мещане всегда цепляются за то, что необычно для их мещанского глаза, и не способны ухватить суть. Бабушка с подружкой очень устыдились. С тех пор, кажется, бабушка признала, что происходящее в культуре

XX века нельзя отвергать полностью, хотя многое понять и принять не могла. И ещё бабушка говорила, что Маяковский был очень красив.

Я помню, как в раннем детстве мы устраивали дома что-то вроде музыкальной викторины. У нас была бездна всевозможных пластинок с операми, балетами, опереттами, романсами и инструментальной классической музыкой. Бабушка выигрывала всегда. Она знала не только, что это за музыка и откуда, но и композитора, и автора слов, и исполнителя. Кроме классики, никакой музыки не признавала и сама никогда не пела. В редких случаях, пытаясь меня усыпить, она исполняла какой-то монотонный речитатив, чаще всего это была песенка про двенадцать негрятят, но вряд ли это скрипучее убаюкивание можно назвать пением.

По сути дела, я пишу мемуары, в которые непременно включаются картины дня сегодняшнего, то есть картины, которые рисуются вокруг в момент написания, а также вспоминается вдруг недавно (сравнительно) произошедшее, что с полным правом можно отнести к «сегодняшнему дню».

Некий сумбур обусловлен чувством, сродни тому, которое возникает после разлуки с дорогим человеком, когда хочешь сказать быстрее обо всём, не забыть каждую мелочь, которая для него имеет преогромное значение, и поэтому торопливо и несколько суетливо перекакиваешь с предмета на предмет, иногда не успев закончить мысли.

Вот недавно, загорая на августовском солнце и глядя на небо, представляющее собой ровный голубой фон, я подумала (вслед за Пелевиным. По крайней мере, возникший в моём мозгу образ ассоциируется у меня с Пелевиным), что, в сущности, восприятие моё сейчас ничем не отличается от восприятия высокой травы, коих на лугу множество, качающейся на ветру. Мы просто не можем воспринимать что-нибудь различное: то же солнце, тот же ветер, то же небо, те же визг купающихся, насекомые, что равно садились и на меня и на неё. Единственное, что не доступно мне, это подземная жизнь корней этой травы. И в этом она богаче меня. И почему же я вообразила себя человеком на данный момент времени? И вдруг, в этот самый момент, я вижу: странные существа пролетают как раз над этой травинкой. Они были похожи на микроскопических птичек: одна серая, одна белая, как маленькие бабочки, только очень странной формы, производили впечатление очень хрупких, и мне показалось, что я вижу пушок, который обычно покрывает тельце ночных мотыльков, на кончиках их крыльев. Хотелось закричать: «Смотри! Смотри! Что это?!», – и осторожно ткнуть своего спутника, чтобы он повернулся и увидел их. И в ту же секунду я понимаю, что это на самом деле птицы, огромные морские чайки, только летят они очень высоко, и для зрения, сконцентрированного на кончике близрастущей травы, и, таким образом, притягивающего к ней все предметы, их размер, «съеденный» расстоянием, реален, и этот фокус абсолютно меняет сущность вещи, превращая её в нечто другое, новое.

Временная даль, я думаю, вполне соотносима с далью пространственной. И притягивая события далекого прошлого к сегодняшнему дню, я поневоле вижу и описываю то, чего на самом деле не было, а есть только некоторые совпадения внешней оболочки и самых бросающихся в глаза признаков.

Семейная легенда, бережно сохраняемая моей бабушкой и подхваченная последующими поколениями, гласила, что по отцовской линии бабушка моя принадлежит к старинному немецкому роду герцогов Штольцев фон Доннерсгеймов. В конце 18 века младший отпрыск рода Доннерсгеймов, промотав наследство, отправился в Россию для поправки рухнувшего состояния. Здесь, в России, он вёл жизнь бурную, дважды накопив и спустив состояние, удостоен был, однако, милости царя. Далее легенда содержит два варианта. То ли отпрыск рода Доннерсгеймов (получивший в семейной хронике прозвище «весёлого дядюшки») прибыл в Россию безродным немцем Штольцем и дворянство приобрёл монаршей милостью, то ли его немецкое дворянство было признано в России. Отец мой, не принадлежавший к славному роду (ибо ко мне кровь мифических Доннерсгеймов перешла от матери), придерживался следующей

теории: какой-то проходимец-немец, отправившийся в Россию для ловли фортуны, объявил себя здесь потомком герцогского рода и, благо никто не мог этот факт проверить, пользовался ворованным именем с большой выгодой для себя. Эта теория не так уж далека от истины, ибо, когда в конце 20 века Россия вновь присоединилась к мировому сообществу, один из Штольцев фон Доннерстеймов приезжал в Москву. Родственники мои с распостёртыми объятиями кинулись к нему и добились-таки аудиенции (подозреваю, что в тайне и они мечтали увидеть в ответ распостёртые объятия), Доннерстейм же принял их очень холодно, объявив, что семья очень трепетно относится к своему генеалогическому дереву, судьба всех, кто имеет хоть какое-то отношение к роду Доннерстеймов тщательно фиксируется и ни о каком представителе рода фон Доннерстеймов, в конце 18 века эмигрировавшем в Россию, он никогда не слышал.

Бабушка, однако, свято верила в правдивость семейного предания и сошла в могилу как истинная фон Доннерстейм.

Когда ночью по улице проходила машина, по стенам бабушкиной комнаты проплывали огромные световые пятна, на какое-то время ярко освещая комнату, так, что видна становилась мебель, шпешечки на кровати и потолок. Мне было и немножко страшно и приятно, и я ждала повторения этого чуда. До сих пор, я, никогда не видевшая северного сияния, представляю его именно так. Эти изломанные пятна казались мне ужасно красивыми, казалось, что становится легче дышать, что даже астма утихает, когда они, рассеяв на мгновение темноту, показывают мне границы комнаты, куда я прибежала из своей кровати, чтобы спастись от наступающего удушья. Я забиралась на высокую бабушкину кровать, и бабушка, спасая меня, ночами напролёт читала мне сказки из «Тысяча и одной ночи», предусмотрительно пропуская все эротические моменты, которые я всё-таки раскопала потом, и пятна света были иллюстрациями к этим сказкам, и я засыпала, наконец, но сон был так непрочен, что стоило бабушке перестать читать, как я просыпалась и требовала продолжения. Измученная бабушка, жалея меня, читала дальше: «И вот Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи».

Прощаясь с бабушкой в Перми, я (не зная, что нам предстоит встретиться в Петербурге) просила: «Бабушка, пожелай мне что-нибудь на прощанье!». И ждала я какого-то откровения, *приращения* (?) тайн, если не святых, то земных, бытовых, каких-нибудь, ибо, когда бабушке хорошо за восемьдесят, а внучке уже за тридцать (любимой внучке, претендую я, хотя в разные периоды своей жизни бабушка произносила: «Славка – моя последняя надежда», «Вася – моя последняя надежда», «Анна – моя последняя надежда», «Натка – моя последняя надежда», – надеясь каждый раз на того из внуков, кого не было рядом), и первая молодость прошла, а скоро пройдёт и вторая, то пора, пора узнать тот секрет жизни, который наверняка открывается под занавес, и совсем не обязательно ждать до этих восьмидесяти, когда есть бабушка, прошедшая огонь и воду, и кому, как ни ей, открыть внучке этот секрет, тем более перед прощанием и, быть может, навсегда. Бабушка непременно скажет мне слово, которое сделает меня посвящённой, сведущей, *зрячей*, уже сейчас. Как будто даст заглянуть в будущее, чтобы жить осмысленно, полно, видеть путь на развилке, отсеивать лишнее, не упускать своего, и главное знать, что *своё*. И вот, несколько торжественно и нервно приступила я к бабушке. И моя бабушка, 87 лет, уже тогда редко встававшая с постели, огорошила меня речью о своих поклонниках. Что угодно ожидала я от неё, воспитавшей троих детей, пережившей гражданскую, голод и разруху 20-х годов, Отечественную, голод и разруху 40-х, туберкулёз, заведование кафедрой, развод, работу на износ, инсульт, смерть любимой дочери; выжившей в репрессиях с фамилией Штольц, при том, что всегда воевала за справедливость и т.п., но не воспоминаний о мужчинах.

– Конечно, Владимир Иванович меня бы на руках носил, это был преданный и верный поклонник, смотрел на меня благоговейным взором, и когда я его уже потом встретила, уже ты была у меня на руках, он вдовцом был тогда, он всё ещё смотрел с обожанием, ходил

за мной попятам. Но он был скучен, как осенний дождь, зануда, каких свет не видывал, (а мне было скучно слушать в сотый раз одно и то же и хотелось услышать что-то другое, и Владимира Ивановича я этого помнила – седой джентльмен благородного вида, а то, что он помогал нам в Ленинграде тогда, я с позиций своего детского эгоизма воспринимала как должное, ибо бабушку всегда окружал некий ореол неординарности и могущества: отец её был одним из основателей нашего университета, и сама она в городе значила немало, и она умела делать так, чтобы люди ей помогали), а Валерий был боек, остроумен, хорош собой, писал кандидатскую в то время, он нравился матери и сёстрам, те гудели: «Уже 24 года, останешься в девках», любви особой там, конечно, не было. Надо было замуж выходить. Кто ж знал, что он окажется таким истериком. Ты представить себе не можешь, как он был обаятелен, эрудирован, умён! Он был великолепным рассказчиком, когда он рассказывал что-нибудь, мама и сёстры падали от смеха, а мне говорили: «Смотри, Ньюска, упустишь хорошего жениха, дороешься! Всё принца ждёшь?» Кто бы мог подумать, что за блестящей оболочкой скрывается такой мнительный, слабовольный и неуверенный в себе мужчина. Это я его заставила диссертацию написать своим примером. Он был талантлив, но ленив и несобран. Я шла в библиотеку и брала его с собой. Я говорила, что у меня уже есть первая глава, и ему волей-неволей приходилось меня догонять, чтобы не пострадало самолюбие. (И эта история была мне уже почти дословно известна, я бы могла её продолжить за бабушку: «Я жила в общежитии с аспирантками рабоче-крестьянского происхождения, старыми девами, они мне страшно завидовали, я была молода, хороша собой, у меня был жених, кандидатская мне давалась легко, а они были тупы, с трудом высасывали из пальца свои диссертации и шипели у меня за спиной: „Вот такие интеллигентки и убивают наших вождей“. Конечно, выскочишь замуж от таких змей, опасно было с ними оставаться, они бы написали на меня донос».) А профессор ***, я с ним познакомилась на конференции в Самарканде, он подарил мне свою книгу с автографом, завязалась переписка, он настойчиво звал меня в гости, у него был свой дом, сад, в Самарканде, а во второй раз мы встретились тоже на каком-то симпозиуме, он уже был стар, песок сыпался, мне было не интересно. И в Ленинграде был у меня поклонник. Но тот так, быстро промелькнул. Я уже была доцент, а он стареющий аспирантик, с кандидатской подзадержался, и работа была, приглашали на кафедру в пединститут, но давали только комнату, а у меня трое детей, огромная квартира в Перми, а у него малюсенькая однокомнатная с мамой. Хотя, мне очень хотелось в Ленинград!

– Бабушка! Я уезжаю! Скажи мне что-нибудь!

– Ну, так ты скажи Ивану чтобы не пил. Скажи ему! Ведь он такой умный, красивый. (Иван?! Красивый?!) Пробросаясь. Мужик один не засидится. А ты будешь разведёнка с ребёнком. Вот ведь в училище не нашла себе мужа. Офицеры, они такие, в любовницы возьмут, а ни за что не женятся. Ну, живи любовницей, может, и уведёшь какого-нибудь, женишь на себе. (Опять мне вспоминается одна из бабушкиных премудростей: никогда не прогоняй плохого поклонника, плохой поклонник приведёт хорошего).

– Бабушка, какое училище! Я уволилась, в Питер уезжаю!

– Ну, так ты скажи Ивану чтоб не пил.

– Скажу.

Так и не поняла я тогда, что же пыталась сказать мне бабушка. Не услышала. Да и есть ли вообще какой-то секрет, можно его словом-то сказать?

Под действием димедрола, коего я в детстве проглотила несметное количество, комната моя начинала расплываться, а сверху, откуда-то сквозь потолок начинали валиться огромные кубы. Они падали с разной скоростью, проходили сквозь пол, а сверху, им на смену, валились новые. Каким-то образом они не трогали мою кровать, и я на этой кровати как будто зависала посреди этой пелены из кубов. И тут открывалась дверь, и с градусником или с лекарством

входила бабушка. Кубы не трогали её тоже, и она наклонялась над моей кроватью, брала меня за руку, что-то спрашивала, трогала мне лоб, и пока она была рядом, я понимала, что я не одна, что посреди этой страшноватой зыби есть один оплот реальности, тверди, – это моя бабушка, и пока кубы не трогают её, они не тронут и меня.

Разумеется, я не могу описать бабушкину жизнь, опираясь только на свои впечатления, ибо я появилась в бабушкиной жизни только на последней её трети. Да к тому же, даже признав субъективность своих воспоминаний, всё же хочу внести некоторую если не объективность, то хотя бы разноголосицу. Так вот, моя тётя мне рассказывала, что у них в классе произошёл страшный случай. Её одноклассники, друзья, готовились к соревнованию на рапирах, и почему-то одна рапира оказалась без наконечника. Мальчишки баловались, во время боя несколько раз менялись оружием, потом сняли маски. И вдруг один из парней, случайно, попал обнажённым концом рапиры в нос другому. Удар был сильным, и рапира, пробив носовые перегородки, дошла до мозга. Мальчик умер. Сказать, что все были в шоке – это не сказать ничего. Митька (тот, который убил своего друга) хотел покончить жизнь самоубийством. И они всем классом по очереди дежурили рядом с ним, чтобы не дать ему это сделать. Вот какой это был класс! Директриса хотела исключить Митьку из школы и вообще, чтобы его посадили в тюрьму. Бабушка ходила к директрисе и убеждала её дать мальчику доучиться, ведь уголовного дела заводить не стали, было ясно, что это несчастный случай. Но директриса хотела устроить показательный процесс. Тогда бабушка пошла к матери убитого мальчика и спросила её, хочет ли она, чтобы Митьку исключили из школы? А мама убитого Митькиного друга сказала, что Геру не вернёшь, что она понимает, что и Гера мог случайно ударить Митю, и она не хочет мстить, не хочет ломать мальчику жизнь. Тогда бабушка опять пошла к директрисе и опять, и ходила столько раз, сколько потребовалось, чтобы убедить директрису оставить Митьку в школе. Это был выпускной класс. И все ребята приходили к Митьке домой и заставляли его делать уроки, готовиться к сдаче экзаменов и к поступлению в вуз. И моя тётя приходила, и они вместе учили физику и математику, поскольку она решила в тайне от бабушки, которая хотела, чтобы тётя поступала на филфак, поступить на мехмат. А моя тётя любила этого Геру, это была её первая любовь. Герка был отличник, повеса, предводитель всего класса, неслух, и директриса его ненавидела. Тётя говорит, если бы это Гера убил Митю, то директриса точно бы его сгноила, её бы не убедило ничего. И вот, тётя приходила к Мите, убийце своего любимого, и заставляла его учиться, и следила, чтобы он над собой ничего не сделал. Потом они сдавали экзамены в университет. Тётя сдавала тайно, чтобы бабушка ничего не узнала. А Мите не хватило одного балла для поступления. Было одно место и несколько претендентов с одинаковым количеством баллов. И бабушка пошла к ректору и сказала, что этого мальчика надо обязательно принять, что тут он будет на глазах, что многие его одноклассники тоже поступили в университет и будут рядом, что если его сейчас не принять, то мальчишка пропадёт. И убедила ректора.

Когда бабушка обнаружила, что тётя сдаёт экзамены на мехмат, она пришла в ужас. «Она ходила и твердила и мне и всем преподавателям, что я дура и учиться на мехмате не смогу. Она хотела держать меня рядом, под своим крылом, она уже со всеми в приёмной комиссии договорилась, а я не пошла сдавать. Я специально не пошла на филфак, иначе она бы меня удушила своей опекой. Мне хотелось быть от неё подальше, и я выбрала факультет, где наша семья не засветилось, и где у неё почти не было знакомых. Так она успела-таки подсуетиться и предупредить профессора Левковского, он у нас принимал последний экзамен, что я её дочь. И вот, я уже сдала, а он и говорит: «Зря ваша мама вас подстраховывает, у вас прекрасная подготовка». Я чуть не умерла со стыда. Представляешь, какой кошмар ждал бы меня на филфаке?! (Бабушка, бабушка! Тебя уже нет, а твоё имя до сих пор открывает для меня двери домов и учреждений.) А перед распределением она обила все пороги, чтобы оставить меня

в городе, а я уехала в интернат в Соликамском районе, куда надо было добираться больше суток, от Соликамска автобусом, который не каждый день ходил, чтобы мама меня не достала. И что бы я сейчас из себя представляла с этим филфаком? Я счастлива, что я туда не пошла. Сейчас у меня хорошая работа, а что такое филолог? Неконкретно...

...Мне кажется, что я и замуж-то вышла, чтобы уехать в Ленинград, подальше от мамы. А потом она стала меня мучить своими письмами! Она в каждом письме мне писала: «Ты завидуешь Аське». Я очень любила твою мать, я всё детство её за руку водила, но я абсолютно не понимала, почему я должна ей завидовать?! А мама меня просто долбала, в каждом письме, в каждом письме! Я жила в Ленинграде, у меня была хорошая работа, зарплата больше, чем у твоей матери, много друзей, семья, ну почему я должна была завидовать?! Зачем она это делала? Я чуть не возненавидела свою сестру! Наконец, я не выдержала и написала Аське письмо и спросила, почему я должна ей завидовать, а она, похоже, и не подозревала ни о чём. Ну, она, видимо, устроила матери разнос, потому, что это сумасшествие прекратилось, а мне она написала, что это я должна тебе завидовать, у меня ребёнок больной, зарплата маленькая, в общем, матери не удалось нас поссорить. С тех пор я ненавижу зависть. Самое отвратительное качество в людях – это зависть. И предательство. Когда отец уходил, мама меня спросила, с кем я хочу остаться, а я очень любила отца, обожала. Твоя мать была «мамина», да она и маленькая была, не понимала ничего, а я всё понимала, но я знала, что если я скажу: «с отцом», это будет предательство. И я осталась с мамой. У отца была новая семья, а я не могла предать мать».

Я помню, во время наших кровопролитных драк с братом, бабушка разнимала нас и читала мне нотации (я старше), что брат – это самый близкий мне человек, что в жизни всякое может случиться, к кому обратиться тогда, как не к брату, что мы должны любить друг друга, беречь, помогать во всем. Почему же она так методично ссорила своих дочерей, что это было, зачем же надо было внушать одной дурные чувства к другой? Было ли это отражением её собственного положения в семье, положения промежуточного ребёнка, когда самая младшая сестра, оказавшаяся, к тому же ласковой резвухой в отличие от бабушки, которая была дика и скрытна, стала любимицей матери? Отец, конечно же, больше занимался с сыновьями. Бабушкина младшая дочь была тоже ласковой резвухой, к тому же она была слаба здоровьем, а бабушкино внимание всегда была приковано в первую очередь не к сильному и здоровому, а к слабому и больному. Старшая дочь была в бабушку: сдержанная, скрытная, с сильным характером. И бабушка неосознанно пыталась внушить старшей то отношение к младшей, которое, видимо, питала когда-то сама... Но именно благодаря своим характерам, тому, что одна была достаточно сильна, чтобы противостоять внушению, а другая слишком легка и беспечна, для того, чтобы конфликтовать, сёстры остались дружны между собой.

У бабушки была уникальная способность искать для себя ярмо, мгновенно впрягаться в него и тянуть, как вол, и тут же яростно лягать всех домашних за то, что «сели и ножки свесили». Она умудрялась посадить себе на шею даже кошку с собакой и хомяка. «Эта ваша хомячиха всё таскала детёнышей по всей клетке, она же их задушит! Завели животных, так ухаживайте за ними! Я ей весь день вила гнездо, я ей и вату предлагала, и бумагу, и тряпку. Тряпку она, вроде бы, приняла. Отнесла туда детей и затихла». Этакий тиранораб, пытающийся до предела регламентировать жизнь детей и внуков, до изнеможения подстилаящий соломку, причём иногда до высоты огромной скирды, преграждающей дальнейший путь. Позже, уже лишённая возможности вмешиваться, проводя почти всё время в постели и, видимо, обдумывая прошлую жизнь, она признала, что была деспотична:

– Я, наверно, твою мать зря заставила диссертацию писать, слабая она была для этого. И, наверно, была не права, когда воевала с твоим отцом, но ведь это была война за тебя!

Да, за меня бабушка готова была воевать со всем миром, с моей болезнью, с моими родителями, и, конечно, со мной. «Мать – ветрогонка, отец – бездушный педант, бедный ребё-

нок!» – это самые безобидные эпитеты, несущиеся в адрес моих родителей. Не раз, играя где-нибудь у бабушки в ногах, я слышала, как она выдавала по телефону очередной своей знакомой тираду вроде следующей: «Затеял делать ремонт при ребёнке! Стал скоблить штукатурку, пыль летит, а я только что пролечила её! Зачем, спрашивается, провоцировать приступ?! Крестьянская тупость и педантизм! Конечно, я вмешалась, а он говорит: „Не ваше дело“. Я ему ребёнка вылечила, а он: „не ваше дело!“ Когда я ребёнка из приступов вытягивала, это было моё дело?! Ну ладно, не моё дело, но ребёнка-то собственного можно пожалеть? Сволочь! Я ему в лицо сказала, что он сволочь и подлец, если не жалеет собственного ребёнка! Теперь не разговаривает со мной, нос воротит, в комнате запирается, варево моё не ест». Не было абсолютно мирным домашнее существование. В обратном направлении неслись эпитеты «зловредная старушонка», «хамка» и т. п. Может быть, благодаря этой войне я оказалась не так уж не подготовлена к собственной семейной жизни?

Одним из наиболее поздних выражений неумеренной с моей точки зрения опеки, было отслеживание моих походов в парк с собакой на собачью площадку. Я уже была большая, хотелось, как водится, свободы, независимости. И вот, идёшь, бывало, вечером по парку в компании подружек, все весёлые, с собаками, ведём «профессиональные» собачьи разговоры, и вдруг – что это мелькает там за деревьями? Вдоль дороги, прячась за соснами, размашистыми шагами перебираясь с кочки на кочку, нелепо пригибаясь, как шпион в плохом фильме, отсвечивая в темноте белым плащом, скачет бабушка. И вот что удивительно, она всегда оказывалась дома раньше меня и на все мои скандалы, типа «ты меня позоришь, не надо меня за ручку водить» и т. п. невинно глядя на меня, отвечала, что ничего не понимает и никуда она не выходила. Когда же я доставала её, она кричала, что девушке опасно гулять вечером в лесу, что собака – дура и меня не защитит, если что, а родители – безмозглые идиоты, и им плевать на собственного ребёнка. Я говорила, бабушка, а ты-то что можешь сделать, если на меня нападут? На это у бабушки был убийственный ответ: «Я закричу!» Я говорила, но ведь я же тоже могу закричать, а после этого бабушка всегда мне рассказывала историю о том, как она шла ночью и увидела, как хулиган тянет девушку в подворотню, а та хнычет: «отпусти, отпусти». Бабушка подскочила к хулигану и закричала на него: «Немедленно отпусти её, я тут сейчас такой шум подниму, я тут всех на ноги поставлю, я тебя в милицию сдам», а сама потихоньку оттирает девушку в сторону автобусной остановки. Точно я не помню, но хулиган куда-то скрылся. Бабушка моя никогда не отличалась могучей комплекцией и громовым голосом. Поэтому вся эта история казалась мне неубедительной, так как я никак не могла понять, как хулиган мог испугаться моей бабушки, разве что был очень хилым. Бабушке моей тогда было, наверно, лет сорок. Видимо, и хулиганы тогда были не совсем наглые, представляю, что было бы сейчас. Хотя, может быть, сейчас перевелись такие люди, как бабушка, и ни у кого просто нет внутренней убеждённости в том, что хулиган должен отступить, если кто-то приходит на выручку его жертве. А ещё бабушка говорила: «Дура ты, не понимаешь, что сейчас не только насилуют, но и убивают! Раньше хоть, насильовали и отпускали, а сейчас убивают!» На что моя реакция была в духе гордых девиц из классической литературы, если уж изнасилуют, пусть лучше убьют, лучше смерть, чем поруганная честь, но я, конечно, вслух этого не говорила. В общем, ясно, кто всегда выигрывал подобные споры.

Сейчас мне хочется привести мнение ещё одного человека, не раскрывая при этом секрета, кто он. Назовём его, к примеру, Николай. Оговорюсь сразу, что Николай питал к бабушке чувства противоречивые, скорее, негативные. Я была маленькая, когда услышала его слова, но запомнила их хорошо и могу привести почти дословно, во всяком случае, точно без искажения смысла. А говорил Николай примерно следующее: «Я, когда шёл к ним в гости первый раз, боялся страшно. Как же я буду себя вести? Обязательно сделаю что-нибудь не так! Профессорская семья всё-таки, а я в городской квартире-то раньше и не был. Пришёл. Садятся

за стол. Смотрю, тарелки, чашки ставят все разрозненные, побитые какие-то, треснувшие. Потом бабушка твоя из огромной кастрюли, страшной, раскладывает по тарелкам серые макароны, бросает туда по куску маргарина, и все, как ни в чём не бывало, начинают есть. Дикость какая-то! Я посмотрел: никто на это внимание не обращает, едят, и ведут при этом заумные какие-то разговоры. Тогда ещё Вова, друг Марика был. Тоже наворачивает эти макароны, и рассказывает о чём-то. Чтобы у нас, даже если гостей в доме нет, такую битую посуду на стол поставили! Да у нас такой и в доме, наверно, не было. И просто так макароны с маргарином не ели. Не голод же. Не война. Тогда уже были продукты какие-то в магазинах, да и бабушка твоя много зарабатывала. Потом-то я понял, что у них в доме так принято: деньги есть, стол ломится от деликатесов, деньги промotaют мгновенно, едят макароны второго сорта с маргарином. И деньги у них в доме испарялись прямо-таки мгновенно! Только кто-нибудь зарплату получит – всё тут же истратят, а на третий день бегут к соседям на хлеб перехватывать. Потом у кого-нибудь снова получка – долги раздадут, три дня роскошествуют, и опять денег нет. И все к этому привыкли. А чтобы тарелки красивые купить или скатерть, или другую какую-нибудь вещь красивую в дом – это никому в голову не приходило. Удивлён я был страшно».

Надо признаться, что во мне тоже нет тяги к красивым вещам. Не помню я про них, не вижу их красоты, не умею различать безвкусное и стильное, шикарное и аляповатое, скучное и благородное. Чужд мне мир вещей, не понимаю я его, и он мне платит тем же. Вещи, которые меня окружают, случайны и чисто функциональны. И многие из них мне не принадлежат. Сложилось так, что вещи вокруг меня чужие, и, переезжая из одного жилища в другое, спрятав глубоко тоску по дому своему, не замечаю я их, скольжу по ним беглым невидящим взглядом, так как мимолетны они в моей жизни так же, как и очередной кров. А может быть, если бы любила я их, если бы были они мне интересны, так и реальный, мир вокруг относился бы ко мне по-другому... Но что гадать сейчас? Это была бы, наверно, уже не я...

Было что-то генетическое в этой абсолютной убеждённости в своём праве, может, то была действительно голубая кровь, что давала бабушке основание, не стесняясь присутствием моего отца, в этот момент скрипевшего зубами, вслух рассуждать о том, «что же можно ожидать от пролетария крестьянского происхождения, надо было смотреть за кого замуж выходишь, внучка Михаила Штольца фон Доннерсгейма могла бы выбрать и более достойную партию». Ни для кого не секрет, что она пыталась развести дочь, пилила и грызла её, наверно из-за обыкновенной материнской ревности, а так же, наверно, из подсознательной ревности женской, так как дочь была счастлива в браке, чего бабушка не могла сказать о себе. В ней вообще была странная склонность ссорить близких людей, которую она не осознавала, но которая время от времени проявлялась на протяжении всей её жизни. Чем, как не этой странной и, надо сказать, малоприятной склонностью, можно объяснить, такую например, сцену: будучи уже довольно дряхлой, она подкарауливала момент, когда возвращался с работы голодный (а все мужчины огнеопасны, когда голодны), ревнивый настолько, что перед ним и Отелло бы выглядел агнцем, молодой муж, чтобы выползти в коридор и крикнуть внучке (свежеиспечённой жене): «Чего ты бесишься и на мне зло срываешь? Надо было по любви замуж выходить!» И с чувством глубокого удовлетворения удалиться в свою комнату, чтобы оттуда слушать звуки разгорающегося скандала между молодыми и находить в них подтверждение своей правоты. Но как трогательно выглядела её забота о моём браке! Когда в газетках стали появляться первые статьи, в которых тогда робко и максимально завуалированно говорилось о технике секса, бабушка, вырезала их и просила мою сестру, которую считала особой просвещённой, передать мне, полагая, что я ни за что самостоятельно в данной стороне жизни не разберусь и не смогу удержать своего мужа, которого бабушка называла хулиган, имея в виду, что я – барышня. Хотя я уверена, что бабушка была самым изумлённым читателем данного рода статей.

О целеположении

При написании романа, вполне логично, что цель, поставленная вначале, с течением времени может измениться так, как происходит и в самой жизни. Как только человек становится способен к целеположению (в юности), он ставит себе цель в жизни, но жизнь идёт, цели, достигаются они или нет, меняются. И даже по достижению цели (фактическому) кажется, что хотелось на самом деле вовсе не того, свершается обычно только внешняя, фактическая сторона цели, а внутренняя, сущностная её сторона, то есть то, как человек непосредственно оценивает свершившееся, в какое состояние погружает его свершившаяся цель, оказывается до странности противоположным ожидаемому. И цель тогда как бы сама собою изменяется, и человек направляет свои силы в иную сторону. Но иногда охватывает человека бесцелье. И живёт он просто так. В этом состоянии можно чувствовать себя или хорошо, или плохо. На этом мы наш краткий трактат о цели закончим, вся задача его заключалась в том, чтобы намекнуть читателю о возможном несоответствии романа вначале заявленным целям. Роман ведь пишется постоянно, вне зависимости от того, где вы сейчас находитесь, какая забота вас одолевает, держите ли вы, в конце концов, перо в руках или нет, как в той старинной сказке, в которой девушку уже везут на казнь, а она всё вяжет и вяжет рубашки своим братьям-лебедям из крапивы, скованная заклятьем, не может произнести ни слова, а лишь одно в голове её стучит: быстрее, быстрее, пока петля не обхватила шею, пока ещё опора под ногами, вязать, вязать, вязать, как можно больше!

...Вообще – целесообразность – страшная сила. Я помню, как меня маленькую (сколько же мне было лет тогда? Три? Пять? Или уже семь? Это происходило неоднократно) отрывали от бабушки руки врачей и медсестёр, для такого случая сбежавшихся из соседних кабинетов. Чаще всего я уходила в больницу спокойно, иногда даже без слёз, иногда тихо плача, потому что с рождения привыкла к больничному обитанию и к расставанию как составляющей жизни, зная, что череда возвращений и расставаний – неизбежность. Но изредка, сквозь покорность и обречённость прорывался бунт, дикая воля зверёныша, уносимого людьми от мамки, и я вцеплялась в бабушку руками и ногами и иступлённо вопила, и нипочём бы им не оторвать меня, но тут! Бабушка! Она начинала отрывать меня от себя, разгибать мои пальцы, высвобождая свою одежду, и, выпрямляя руки, отодвигать меня от себя. И я, зная каждый раз, что так и будет, что у меня нет надежды победить, всё-таки боролась до конца, пока меня не уносили, извивающуюся, чуть не с пеной на губах, а бабушка смотрела мне вслед. Было ли ей жалко меня? Было. Но она ни разу не уступила, ибо была уверена, что так надо, что в итоге, мне будет лучше. Почему же я, накопив в себе силы в долгие периоды покорности, снова и снова устраивала кровопролитные бои, и за что они были? Мне хотелось перебороть каменную бабушкину целесообразность, чтоб минутная жалость одолела могучую мудрую любовь, чтоб моя воля победила её волю. Но победить бабушку невозможно. Такого не было никогда. Даже теряя рассудок, почти парализованная, она не подчинялась никому. Никто не мог запретить ей путешествовать по всему Петербургу, сваливаясь при этом с кровати. А у меня на всю жизнь выработался рефлекс уступки чужой воле.

Бабушкина целесообразность не знала границ. Когда её первенцу было года два-три, она, зная, что всякие несчастья случаются с детьми в частности из-за того, что у них нет чувства страха, и стремясь уберечь его от падения из окна, брала его за ножки и вывешивала вниз головой с четвёртого этажа, вырабатывая таким образом у ребёнка страх высоты и осторожность. Я не знаю побочных эффектов этой процедуры, факт на лицо: Марик из окна не выпал ни в детстве, ни в зрелом возрасте, и, будем надеяться, он застрахован мощным, выработанным в детстве рефлексом, от того, чтобы ступить на подоконник, до конца дней своих. Не стал он также заикаться, косить глазом, и умственные его способности развились выше среднего уровня. Правда, другие воспитательные мероприятия произвели обратный эффект. Например, регулярные обязательные посещения оперного театра привели к тому, что лет с тринадцати,

когда Марик стал уже абсолютно неуправляем, и до сего дня нога его не переступала порога вышеупомянутого заведения, а регулярное обязательное кормление творогом привело к непереносимости данного продукта. Но это мелочи, не стоящие внимания, по сравнению с невыпадением из окна, и пусть они и считаются побочными эффектами сохранения жизни.

С дочерьми бабушка не проводила подобных экспериментов, то ли выдохлась, то ли просто стало не до того, то ли считала, что девочки, в отличие от мальчиков, менее подвержены всякого рода несчастным случаям.

Жить в этом городе значит объесться шоколадом до тошноты. Эта довлеющая своей невсамделишной, почти киношной (для провинциала) величественностью архитектура! Эта насыщенность историей! Пиршество духа? Пир? Затянувшийся? Навсегда? Этот праздник, этот торт со взбитыми сливками, который надо есть, хочешь не хочешь, каждый день, если ты здесь живешь. Из далекого, бытово-оптимистичного, устойчивого, провинциального (но не слишком) города, Питер, ты казался чудом, таинством, недостижимым далеким. В краткие нечастые приезды ты ошеломлял сказочностью, реальностью счастья, прикосновением к чему-то (без сомнения небывало прекрасному и значительному), чего, конечно же, нет в нашем городе, но без чего ни один человек не может считать себя состоявшимся! Невский проспект! Бродвей! (И то и другое почти одинаково далеко и представляется смутно.) В первый год жизни здесь я шла по Невскому на работу, и мне хотелось кричать: «Люди! Питерцы! Я по Невскому проспекту иду *на работу!*» (По Невскому! На работу! Нет, вы не понимаете, что это значит.) Сейчас же Невский – это суетная, фешенебельная, торгашеская улица, кишачая отпускниками и иностранцами, где всегда толпа, как в автобусе в час пик, дорогие магазины, бесконечная реклама, где даже театры, кажется, призваны утверждать то, что называется «просперити». Нет, скорей с Невского! Бежать! Долой! Что же изменилось за это время? Неужели, я? От чёрного хлеба и картошки моего родного города (вполне неприятельного) к роскоши Санкт-Петербурга, к изнанке этого чуда, осыпающейся, нищей, разрушающейся, живущей теми же бытовыми, убогими, мелкими проблемами изнанке. А где же чудо? В Москву! В Москву! То бишь, в Питер! В Питер! А зачем? Зачем? А дети мои ходили в школу, выходящую окнами на Мариинский театр! А в провинции казалось, что Мариинский театр стоит на острове, если не на облаке, и не надо было видеть его так близко, тем более с тыльной его стороны...

Бабушка... Ты 89-летней, почти не транспортабельной старухой, вынудила-таки после 10-летней борьбы всех окружающих против твоей навязчивой идеи – умереть в Питере, городе, где ты родилась, перевезти себя сюда, в чужую тебе квартиру, где ты воцарилась со словами: «Ну, наконец-то, я дома». Через год ты умерла после трёх пневмоний подряд (плата за переезд), но, впадши в забытьё, твердила: «Я прошла по всему каналу Грибоедова, постояла на Львином мостике, потом пошла на Невский, полюбовалась Аничковым мостом, я очень устала, я прошла пешком пол-Ленинграда». За этими ли иллюзиями ехала ты сюда, чтобы ещё раз пережить свою молодость, и были ли они возможны там, в Перми? Твоя воля – «Не хочу гнить в земле. Хочу, чтобы меня сожгли в Ленинградском крематории.» – исполнена. Пепел твой на Волковском кладбище в фамильной могиле, вместе с прахом твоей бабушки.

Выкарабкавшись из инсульта, ты вышла на пенсию и повезла меня в Ленинград лечиться от астмы под хоровое завывание родных и знакомых: «В Ленинграде ужасный климат, сырость, ветер, вы погубите девочку окончательно!» И дяденька врач из Прибалтики прокалывал мне живот толстой иглой и надувал воздухом (процедура называлась «поддувание»). Бабушка, ты выиграла войну с всеобщим недоверием, чиновниками (не было прописки, и была дикая очередь в больницу.) Ты была одержимым фанатиком и хитрым стратегом, и ты победила. Я вылечилась. А чуть позже, двадцатилетней, я приехала в Питер, лечить другой недуг, и он лечил меня тогда своим камнем, холодом, дождями, достоинством, и любовь к холодному юноше перешла в любовь к холодному городу (все по Фрейду), ибо юноша отверг, а город принял.

А потом мы, каждая своим путем, оказались в Питере, и ты в буквальном смысле умерла у меня на руках.

Говорят, Питер построен на костях и поэтому у него гибельная, тяжёлая энергетика. Но там, где живут люди, их пути всегда устилают кости. Предков ли, павших ли в боях, идущих ли первыми. Мёртвые, что в земле Питера, требуют жертвенности. Как я могла написать, что ты до приторности сладок?! Нет! Нет!! Отрекаюсь от своих слов. Ты холоден, безумно холоден, и чист. Шелуха, что покрыла тебя сейчас, не меняет твоей сущности. Может, ты рассыплешься, не выдержав времени, но ты уйдёшь несгибаемым, несговорчивым, таким, какой ушла моя бабушка, всю жизнь бывшая предельно жертвенной, но никогда не бывшая жертвой. Вы были одной крови, Питер и бабушка! И, наверное, не зря ты укоротила себе остаток жизни (если бы ты не трогалась с места, ты бы могла прожить дольше), ты воссоединилась с родным духом, и пепел твой служит частицей фундамента, на котором стоит этот город.

Этот момент всегда со мной. Не было весны, не было соловьёв, не было цветущих садов, но были крупные мягкие снежинки, падающие на запрокинутое лицо, и было ощущение тепла, тепла, заполняющего все, мешающего дышать, и одновременно лишаящего тело веса, позволяющего лететь, раскинув руки, сквозь вечерний снегопад, и источником этого тепла, были глаза, заставляющие забыть о существовании в мире чего бы-то ни было ещё. И сейчас, будучи уродливой старухой, измученной артрозными болями в вывороченных суставах, неопрятной и склеротичной, я живу воспоминаниями об этом катании с горки, когда мне было восемнадцать лет, и я взлетала на гору без счёту раз, чтобы снова скатиться вниз на автомобильной камере, рухнуть в сугроб и всё время кричать про себя – это счастье! Счастье! Так вот оно какое! Представьте себе, старушечку в памперсах (не то, чтобы она страдала недержанием, но так, на всякий случай... Когда иногда прихватит сердце, и, несмотря на бесконечно глотаемые таблетки, боль парализует и лишает памяти, и не знаешь, умираешь ли ты уже или пройдёт, и остаётся только ждать, точнее, это происходит само собой, просто в какой-то момент вдруг осознаёшь себя в пространстве, значит, приступ прошёл, сердце пока выдержало, надо вставать и жить дальше... Что вытворяет организм в такие моменты – не под контролем), поминутно теряющую вставную челюсть, с утра пораньше спешащую за компьютер, едва попадающую скрюченными пальцами по клавишам и пишущую, пишущую... Семья давно смирилась с ней, с её чудачествами. Так вот, старуха, внешне давно живущая делами своих не детей даже – свищут где-то, не достать, – а внуков, этих избалованных, ленивых (под рыло подставишь, так ещё и морду воротят) неслухов, которых любишь безумно, ворчу, конечно, так ведь и делаю для них все, ничего не ценят, никакой благодарности, одно хамство в ответ. То Анна (в честь меня назвали) идёт в одних колготочках капроновых в мороз, не пускаю, говорю: припадочки простудишь, детей не будет, а она мне: «Бабушка, отстань!» То Наталья, старшая, бессовестная! Сама сидит весь день перед телевизором, а дети (правнуки уже) бегают с мокрыми штанами, сопливые. Я ей раз скажу – ноль внимания, два скажу – ноль внимания, три скажу – она в крик: «Бабушка, не суй нос в мою жизнь!» Да как же не совать! Детей нарожала, так надо воспитывать, а не перед телевизором сидеть! Только облизывать горазда! У детей уже прыщи пошли от её поцелуев! И никакого воспитания! И такая ругань весь день, пока я не уйду, хлопнув дверью, в свою комнату, не сажусь к столу, и тогда от моих бумаг, от старенького компьютера поднимается облако, что укрывает меня всю, уносит от дня сегодняшнего, где за закрытой дверью верещат ссорящиеся правнуки, туда, в снегопад восемнадцатилетия, в момент счастья, который хранит моя память, и который хранит меня всю жизнь, как зыбкая, но вечная опора, и я улыбаюсь глазам, которые в тот миг так тепло и ласково смотрели на меня, и улыбаюсь возне правнуков за дверью, иду к ним, вытираю носы и читаю им детскую книжку.

Как-то роюсь в бабушкиных дневниках (уже после её смерти), я обнаружила странную похожесть пережитых моментов. Бабушка (моя волевая, ворчливая, всегда идущая напролом бабушка!) описывает свою встречу с человеком, который, по всей видимости, был её первой любовью. Правда, ей тогда было всего 16 лет. Я бы никогда не узнала в этой робкой, трепещущей девушке ту бабушку, которую знала всю жизнь я. Он был, как я поняла, танцором и приезжал на гастроли. Она пишет, как ждала его у театра, как он вышел, увидел её, подошёл, как она решилась взять его за пуговицу, и, держась за эту пуговицу, единственную, такую ненадежную связь между ними, нашла в себе силы болтать о всяких пустяках. Как он попрощался, и ей пришлось отпустить эту пуговицу, и это все, что было между ними. Но это была, кажется, единственная и самая настоящая любовь, и ей не суждено было повториться в бабушкиной жизни. Я-то думала, что бабушка была холодная, а она просто хранила верность своей любви и не хотела притворяться.

– Эта Гомозида была не первая его любовница, но ей удалось заарканить его. Она была страшна, как смертный грех. Её и прозвали Гомозида за это. Гомозида – это вид клеща. Все поражались, как он мог променять красавицу жену с тремя детьми на этого урода. Но она была ласковая, чувственная, хитрая. И уцепилась за него, как клещ. Она мыла ему ноги и всё время ворковала. А он упрекал меня, что ему не хватает любви. И какой такой любви ему было нужно, не понимаю. (Ах, бабушка, поэтому и не понимаешь, что не любила... Был бы на его месте тот, первый, из твоих шестнадцати лет, тогда бы ты не понимала другое...) Я к нему хорошо относилась сначала, но он сам всё испортил своими истериками. У меня работа, ребёнок годовалый, диссертация, к тому же я была вечно голодна. Зарабатывали-то копейки – два аспиранта, а я ещё няньку нанимала. А свекровь делала так: положит котлетку сыну – он мужчина молодой, ему нужно, мужу – у него туберкулёз, а мне говорит: «Вы извините, Нюсенька, вам дать не могу». Скупа была, как чёрт. А я чуть не падала в голодные обмороки. А ночью Валерий закатывал мне скандалы: «Не любишь! Не любишь!» А я чуть жива, на ногах не стою. Прав был свёкор. Раз, сижу на кухне, и Марик у меня на коленях, а свёкор говорит: «Мне кажется, Аня, вы не любите Валерия, вам бы надо разойтись, пока это человек маленький». Наверно, он был прав... Он был человек хороший, добрый. Слабохарактерный только.

Он приходит домой и уже лихорадочный блеск в его глазах, он уже несёт в себе *это*, он уже на взводе, механизм запущен, он просто ждёт условного сигнала, и теперь всё равно, что ты скажешь, «садись за стол», «как дела?», «подожди, ещё не готово», – не важно, главное – это твой голос, главное, наверное то, что ты вышла на контакт, раскрылась, готова слушать серьёзно и внимательно, сначала радостно, а с каждым разом всё более напряжённо и со страхом, срабатывает рефлекс – сейчас начнется, и *оно* начинается. Дикая, сумасшедшая ярость обрушивается на тебя, дикие, сумасбродные обвинения сыплются на голову, и все, что бы он ни говорил, любой бред, любая дичь, и всё, что бы он ни делал: опрокидывал бы накрытый стол, рвал на себе рубаху, швырял тебя о стену, он как бы прав, потому что ты уже на крючке, тебя уже подцепили, твоё сознание как бы раздваивается, с одной стороны, ты понимаешь, что все, что он делает, – это подлость и свинство, что так нельзя, что на эту распушенность надо отвечать жестким отпором, а вторая часть сознания, та, которая подцеплена на крючок, признаёт все, что он делает, ты как бы начинаешь смотреть на мир и на себя в том числе его глазами, проникаться, пропитываться его яростью, и как бы начинаешь его ненавистью (пусть и сиюминутной, не постоянной) ненавидеть сама себя, и эта часть сознания говорит тебе: «Он прав, ты ведь действительно такая-то и такая-то, и так тебе, так с тобой и надо...»

Другая часть сознания кричит: «Бред! Чушь! Опомнись! Не было, нет, не могло быть того, в чём тебя пытаются уличить!» – но эта часть сознания существует где-то в отдалённой области мозга, она одинока, её никто не поддерживает, она борется, но, единственно разумная, не в силах победить ту, попавшую на крючок, уже не дееспособную часть, которая захватила

в тебе все передовые позиции, поддерживаемая, питаемая, ведомая его психозом, в свою очередь находящим почву в ней самой, так как, слабая, она поддается, отвечает именно тем, что он хочет получить: пищу и оправдание своей слабости.

Когда приступ прошёл, буря стихла, потихоньку начинаешь сводить обе части. Сначала удаётся просто забыть, плюнуть, махнуть рукой, – мало ли что бывает! Всё наладится, устаканится, устоится. Но с каждым разом верить в это всё трудней. Разорванные края не хотят срастаться. Две части сознания существуют параллельно, не сливаясь, а воюя, пытаюсь уничтожить одна другую, а ты не можешь отдать предпочтение ни одной из них, ведь и та, и другая – это ты.

А он не помнит. Не помнит! Утро вечера мудреней. Он встаёт утром и не помнит своего вчерашнего буйства. Он говорит: «Ничего не было. Всё было прекрасно!» И одна из частей сознания начинает ехидно подсмеиваться над другой, корчит рожи и мерзеньким голосочком, точнее не голосочком, не имеет же сознание в самом деле голоса! а какими-то мерзенько-ехидными импульсами – «не было ничего, не было! Всё нормально, нормально!» – кусает вторую, несчастную часть.

Но если всё нормально (я бы и хотела верить, что всё нормально, может, это и есть норма, кто скажет?), если всё нормально, почему же я не могу примирить, свести воедино две свои половинки, одна из которых кричит: «Встань! Уйди! Не смей позволять себе превращаться в... боксёрскую грушу!» А вторая в тоске плачет: «Да, я действительно такая... плохая, такая ужасно плохая»... Почему же снова и снова... Почему же я никак не могу повернуть это всё в другое русло? Почему же сценарий всегда один... Я не уйду... уйди... Мне надо уйти? Так будет лучше? Почему всегда ненависть... Это нормально? Почему я боюсь уйти, так же будет лучше? Как соединить... Как же он не помнит? Не помнит, поэтому повторяет снова и снова... Как же...

О крови.

Как интересно смешалась в нас кровь разных народов, и какие странные взаимосвязи с событиями в мире можно проследить!

Бабушка моя, в которой смешалась кровь немецких дворян (примем это на веру) с кровью русских и татарских дворян (как ни нелепо это может звучать), ибо фон Доннерсгейм бабушка была по отцу, а мать её (моя прабабушка) происходила из рода сибирских татар, князей Мамлеевых, в коем даже прослеживалось неблизкое, но всё же родство с графом Аракчеевым, и в который время от времени вливалась кровь русских. Но всё равно, семья считалась немецкой. И вот бабушка выходит замуж за сына русского и еврейки, который окружающими в основном воспринимался как еврей. Бабушкины дети в метриках были записаны, конечно, как русские. Но поскольку русская кровь сама представляет собой многокомпонентную солянку, основными чистыми потоками были в них, конечно, немецкий и еврейский (Хотя мы осознаем, что и немецкая, и еврейская кровь однородны весьма условно.) Самая масштабная война XX века, расколовшая для нас этот век на до и после, сделала две этих крови враждующими. Я не знаю, бабушка, что ты думала об этом; среди бесчисленных фантастических историй из твоей жизни: о том, как тебя с сёстрами, ещё почти детьми, хотели украсть в Средней Азии и сделать жёнами каких-то беев, причём за самую младшую давали самый большой калым; о том, как ты ночью защищала какую-то девушку от хулигана; о том, как на вашу дачу в Финляндии до революции захаживал Владимир Ильич Ленин (позже я расскажу вам историю про Гельку), которые я, сидя у тебя в ногах и вырезая цветы, зверюшек и красивых девушек из бездны открыток, идущих тебе со всего Союза и стоявших мешками в своей комнате (ты вела обширную переписку), выслушивала неоднократно, не было ни проблеска твоего внимания к этому. В воспоминаниях о войне, немцы были враги, евреи – жертвы (евреи были жертвы и в воспоминаниях о мирном времени, хотя свою свекровь ты не жаловала), а тебе было слишком не до того, чтобы заметить соединение крови палача и жертвы в своих русских детях.

Моя мать, русская (условно) вышла замуж за моего отца, русского (по паспорту), но имеющего все явные признаки татарина, ещё более проявившиеся в его сёстрах и братьях, моих тётках и дядях, (специфический разрез глаз, скуластость) и достаточно ярко всплывших во мне. Злые (хотя непонятно, почему злые?) языки утверждали, что его мать, моя бабушка, которую я никогда не видела, была взята из татарской деревни, и я на неё очень похожа.

Что же мы видим сейчас? Можно принять, что основные крови во мне – русская (христианство) и татарская (мусульманство). Хотя я атеистка, и мне в голову бы не пришло задумываться об этом, если бы не главное, может быть, становящееся роковым противостояние агрессивных, пассионарных, желающих умножиться на земле мусульман и выдохшихся, вялых, чересчур изнеженных цивилизацией «христиан» (то есть имеющих историко-культурные корни в христианской религии).

Как будто наш род призван объединять разъединяющееся в мире именно в момент кровавого конфликта между составляющими, – в таком случае, я, глядя на наших детей, могу предсказать, что будет дальше... Мистическая сила крови, подчиняющая себе казалось бы случайные союзы людей, противодействует вихрям, несущимся по поверхности земли до тех пор, пока сила древних поколений не истощится и пока вновь живущие не перестанут питать собой общее русло. Но род, столь чудесным образом продлевающийся, несмотря на внешнюю хилость, не может не заплатить за это Судьбе каким-нибудь родовым проклятьем. Это родовое проклятье можно сформулировать как разрыв между сёстрами.

Первое проявление этого проклятья, смутные отголоски которого дошли до наших дней, случилось в семье моей прабабушки. Бабушкин отец вызвал страстную любовь сразу двух сестёр. Он женился на старшей. И на многие годы между сёстрами возникло отчуждение, почти граничащее с враждой. Брак оказался бездетным, через некоторое время первая жена бабушкиного отца умерла. Тогда Михаил Штольц фон Доннерсгейм сделал предложение второй сестре. И в этом браке у них родилось шестеро детей (в том числе моя бабушка). Но бабушкина мама до конца своих дней чувствовала, что любил он только её умершую сестру, а её – лишь как напоминание, лишь как некое подобие той, первой.

В следующий раз проклятье дало себя знать в поколении моей бабушки. Младшая сестра была отвергнута и проклята всей семьёй за то, что во время войны увела у своей сестры мужа, у своих племянников отца. Его институт эвакуировался в Свердловск. Он должен был ехать, и в Свердловске же находилась в то время она. Училась. И жена поручила ему присмотреть за младшей сестрой. В этом кошмаре, в этой чудовищной суматохе, мало ли что может случиться с девушкой, всё-таки лучше, когда родные рядом, когда есть какая-то поддержка. Он был некрасив, намного старше неё, хромотал, ходил с палочкой, но он был единственная опора, единственный человек, на которого можно было положиться, которому можно было довериться. И она ждала его вечером, варила незатейливую похлёбку, с замиранием сердца ждала: придёт – не придёт, а вдруг отправят дальше или вызовут обратно, и она останется одна, совершенно одна. И он знал, что она ждёт, боится, верит, цепляется за него, знал, что отвечает за неё, что ему есть, куда вернуться вечером, что в зыби дня сегодняшнего есть островок тверди из того времени, когда всё было устроено, стабильно, счастливо. Он приходил, смертельно усталый, с тяжёлым камнем внутри, в который сбивались все дневные обязанности, подрасстрельная ответственность, долг, крик, ругань, руководство огромным количеством людей, неимоверное нервное напряжение, и она заботилась, ухаживала, преданно заглядывала в глаза, спрашивая взглядом: «Ну, как?» Кормила, говорила: «Давай постираю рубашку». Он видел, что и тут от него зависят, от того, придёт он вечером или нет, но это было совсем другое. В этой нехитрой заботе была маленькая, но на самом деле такая большая, необходимая поддержка.

Вернулись они уже вместе... Жена (бывшая?) ему и сестра... ей была оглушена, не понимала, как такое могло случиться. Для неё это было чем-то невозможным, немислимимым, но что,

однако, всё-таки произошло. Похоже, она так до конца и не поняла, что её муж не её больше, а муж младшей сестры. А он объяснял, что она была рядом, пока вокруг всё рвалось и рушилось, казалось, что ещё чуть-чуть и собьёт с ног, она была рядом. Это как око тайфуна, когда вокруг ураган, а внутри малюсенький пятанок пространства, на котором затишье, и можно устоять. Но это око тайфуна образуют они только вместе, когда держатся за руки и смотрят друг другу в глаза. Стоит расстаться и всё – сметёт, сломает, унесёт.

Она была рядом? А как же я? Я тоже была рядом с тобой. Да, мы физически были на большом расстоянии, но неужели ты не чувствовал, что я была рядом? Ежеминутно я обращалась к тебе: «Как ты там, жив? Здоров? Дай Бог, чтобы всё было хорошо!» Ведь война – это не только бои, голод и смерть, это разлука, а конец войны – это встреча. Наша с тобой встреча. Как же ты можешь меня бросить?

Таля, кажется, продолжала его любить всю жизнь. Она как-то быстро поблёкла, увяла, постарела, стала часто болеть. И писала бесконечные грустные стихи о любви, одиночестве, тоске, полные недоумения и какого-то неверия в то, что уже давно стало свершившимся фактом. Ни разу она не упомянула сестру в своих стихах, они все были обращены только к нему... Дочери её, Лялька и Милка, ненавидели тётку. Они горько обижались на отца, но тётку ненавидели люто. Особенно изощрялась Милка, своим острым, как бритва, язычком отливала в адрес тётки такие пули, что слушатели только кричали и внутренне тянули: «Да-а-а...»

Дачи стояли почти рядом. И она не могла оторвать глаз, вытягивала шею, как под гипнозом подходила к самому забору, бралась руками за доски и смотрела, смотрела. А мама, сёстры, племянники проходили мимо по тропинке на реку, смеялись, разговаривали, и никто, никто ни разу не повернул головы. Она знала, что любимица матери, и продолжала верить, что мать не может быть так непреклонна, но мать умерла вдали от неё, не попрощавшись. Отец умер до войны, неизвестно, как бы он отнёсся к такому поступку дочери. Её дочка подбегала к забору и тоже смотрела на удаляющуюся, весело щебечущую группу. Там были дети. «Мама, кто это?» Она следила за взглядом матери. «Мама, кто это?» Она чувствовала, что мать как-то связана с этими людьми. «Это твои знакомые?» – «Нет. Пойдём отсюда. Пойдём». И она ввела в дом дочку, которая, только став взрослой, узнала, что у неё много двоюродных братьев и сестёр. Братьев и сестёр, с которыми она никогда не играла.

Много времени спустя, когда они уже были на пенсии, уже подросли внуки, произошло временное потепление. Из всей семьи в живых оставались только моя бабушка и её младшая сестра. Она гостила у нас со своей внучкой, потом мы ездили в гости к ней. Они с бабушкой были очень похожи. Просто одно лицо. Только та была москвичка, очень ухоженная, красивая, с тонкими бровями, с помадой на губах, с уложенными волосами, бабушка выглядела по сравнению с сестрой, как простой римский легионер по сравнению с патрицием. Но отношения скоро опять разрушились. Издательство Пермского университета попросило бабушку написать воспоминания о семье, и бабушка, будучи человеком абсолютно прямолинейным, написала и об этом, о факте увода мужа. «Я только изложила факты, никак не комментировала, но не могла же я не написать того, что действительно было!» Любовь к правде отняла у бабушки сестру и на этот раз навсегда. Бабушкина сестра была возмущена, она говорила, что это её личная жизнь, и она никого не касается, она считала бабушкин поступок предательством. Но бабушка нестигаемо повторяла: «Какое же это предательство? Это факты. Предательством было её поведение по отношению к сестре. Но я же об этом не написала». Бабушка ничем не погрешила против истины и действительно не позволила себе высказать ни словечка порицания на страницах печатного издания, но у меня было такое чувство, что внутренне она до сих пор отвоёвывает право быть ближе к матери, чем сестра. Любила ли она свою сестру? Я думаю, любила. Она была очень родственна. Без конца рассказывала мне о сложной и разветвлённой сети нашей семьи, включая туда всех тёток, бабушек, дядюшек, племянников, а также всех

их жён и мужей, детей, невесток и золовок. Как это было принято в семье, помогала тем, кто беднее, или тем, кто в данный момент нуждался в помощи. И вот, будучи совсем уже дряхлой старухой, когда умерли братья и сёстры, все друзья и подруги, все поклонники, младшая дочь, бывший муж, некоторые племянники, моя бабушка не сделала попыток перед смертью восстановить отношения с сестрой. Впрочем, это ведь та отдалилась, ибо стыд и вина обидчика – это незаживающая рана, более долговечная чем даже обида обиженного, и каждое напоминание о её поступке – как бичом по шрамам, и снова кровоточит и снова болит...

В поколении бабушкиных детей разлад случился довольно поздно, когда одна из сестёр уже умерла, и сторонами выступили сестра и брат, что является некоторым отступлением от канона. Здесь причиной послужило обыкновенное непонимание и роковое стечение обстоятельств, неверное истолкование слов, поступков и мотивов, то есть, реальная причина для разрыва отсутствовала, и это даёт ещё больше оснований утверждать, что разрыв – это результат тяготеющего над родом проклятья. И его проводником выступила бабушка, в этот раз абсолютно против желания, на излёте жизни, успев-таки связать злосчастную нить, тянущуюся от своих родителей с жизнью своих немолодых уже детей.

Самодержавно решив закончить свои дни в Питере, бабушка каждое утро начинала собираться. Когда у неё были силы, она выбиралась из кровати и начинала ползать с двумя палками из комнаты в комнату, вопрошая у присутствующих на тот момент домочадцев, когда же она, наконец, уедет в Ленинград, когда же Катя её заберёт, когда же начинать укладываться, какие вещи ей понадобятся. В дни, когда она не могла встать с постели, те же вопросы задавались всем, кто входил в её комнату, покормить, прибрать или просто пообщаться. Домочадцы, доведённые такой ежедневной обработкой до... как бы это лучше выразить? – лёгкого умопомрачения, стали слать осторожные письма в Питербург, не ответит ли Катя матери решительно, стоит той надеяться или нет? Катя, если мне не изменяет память, когда-то в один из своих приездов, сама, в ответ на бесконечные жалобы матери на то, что с ней тут плохо обращаются и не уважают (далее следовал бесконечный перечень фактов неуважения), в отчаянии выпалила: «Ну, мать, тогда собирайся, поехали!» Кстати, мать, то есть бабушка, сразу же подала назад: «Да как же мы там втроём в однокомнатной квартире...» Так вот, Катя, опять же в отчаянии (и то правда, как в однокомнатной квартире втроём?), да к тому же мать не дееспособна, а её и сына целый день нет дома, писала в ответ письма нервные и неоднозначные. Бабушка же со временем проблему однокомнатной квартиры и перспективу одиночества практически выпустила из своего сознания, оставив только так гревшую её идею переезда в Питер. А потом Катя вышла замуж и переехала к мужу в двухкомнатную квартиру. И бабушка тут же решила, что исчезло последнее препятствие; она ставила теперь вопрос ребром: «Когда Катя меня возьмёт?» Остался только один этот вопрос, но он задавался жёстко. Катя же, чувствуя себя неловко, ещё чужой в мужнином доме, понимала это так, что на неё давят, вынуждают принять решение именно сейчас, когда она и не знает, что выйдет из этого брака (Так трудно притираться в таком возрасте), и, обладая характером вспыльчивым, начинала накаляться.

...Ты знаешь, мне придётся, наверно, взять мать... Это её мечта – приехать в Ленинград... В Петербург. Она хочет умереть здесь... восемьдесят девять... Она уже там всем надоела... Вот так – брал свободную женщину, а оказалось с той ещё нагрузкой. Сама не прописана, а уже мать старую тебе подселить хочу... Но я могу... если ты не согласен, я могу и уйти... Ещё не известно, уживемся ли...

Но он сказал: «О чём разговор. Мать. Вези». И Катя написала: «В принципе, мы не против...» Бабушка, получив такой ответ, чуть ли не в тот же момент сама кинулась за билетом. Она испытывала такой подъём, такой прилив сил, такое возбуждение, что готова была бежать впереди провожающих, щёки её разгорелись, она без умолку говорила, ликовала, радовалась и заразила своим ликованием весь дом. Настолько она воодушевилась, что её такой не помнили последние лет двадцать, и все радовались за неё, вместе с ней. Это была последняя, самая

яркая, наивная, светлая радость исполнившейся мечты. За неё, за этот небывалый расход энергии она заплатила тремя воспалениями лёгких подряд, потерей рассудка и смертью через год. Сил, чтобы жить, не оставалось. Нет, была ещё минута триумфа – уже в Питере, когда её везли сначала на тележке носильщика, потом на такси, она была в полном сознании, на подъёме, и довольная, с чувством выполненного долга, смотрела на свой Ленинград. Это была единственная поездка, когда она *видела* город.

Расстояние (как и отсутствие оно, впрочем) не всегда способствует охлаждению страстей и взаимопониманию. Уже были произнесены слова «я всегда виновата», «зависть», «предательство», на них нахлобачились денежные вопросы, болезни, бабушкин несносный характер, ответственность за неё, разные представления о том, как надо и как нельзя, – всё это, взвинченное и раскрученное Катинной мнительностью и вспыльчивостью в итоге привело к окончательному и непримиримому разрыву. Я, описывая всю эту историю, рискуя навлечь на себя гнев родных, потому что, конечно же, я описываю всё это так, как оно видится мне, и естественно не так, как оно было на самом деле с точки зрения тех или других. И не дай Бог, опять проклятье и отречение, опять раскол. Бабушка, неужели мне ты передала эту страшную эстафету?

– Чего это ты так пялилась на моего мужа? Прямо глаза оставила! Опять завидуешь? Уж так смотрела, так смотрела, что все всё поняли, и он, конечно! Дала понять!

– Что ты?! Ты о чём?! Он у тебя красивый очень просто, вот я и засмотрелась. Просто очень красивый, я таких красивых никогда не видела, вот и забылась. Что дала понять? Что все поняли? Ты с ума сошла!

– Ага, просто! Да ты мне завидуешь, что у меня такой мужик появился! Ты вообще мне завидуешь, что я счастливая, у меня дети красивые, я замуж рано вышла, и сейчас вот на моего мужика так пялилась, опять позавидовала! А ты в браке несчастна, вот и будешь пытаться мне мешать, у меня мужей уводить, меня бабушка об этом предупреждала, что ты такая!

Бабушка?! Так она же умерла! Когда она... успела?! Неужели она говорила это? Про меня?! Господи, да что же это такое!!! Неужели и между нами чёрная кошка пробежит? Да ты же почти единственная, кто меня держит, неужели ты не понимаешь? Ведь я жду твоих писем как наркоман, как астматик кислородную подушку, я должна их получать и вместе с ними заряд доброжелательности, спасительную инъекцию, которая заставляет меня встрепенуться и какое-то время жить, а не только помнить, и сейчас так внезапно, так непонятно почему ты хочешь всё разрушить! Это необъяснимо! Между нами никогда не было соперничества, ни тени возможности его! Ты – это мой дом, моё детство. Я чувствую твою руку, поддерживающую меня, я привыкла её чувствовать, но как же я буду её чувствовать, если ты думаешь, что я... что я... такая?

Да, у меня есть Город, но у меня нет Дома. Некоторые, видимо, должны странствовать и скитаться, чтобы понять, что не странники они, и не для дороги рождены, а чтобы сидеть у очага и вить гнездо. Дом у меня был там, вместе с тобой, а теперь я не осмелюсь вернуться.

О куске хлеба

И вот наступило такое время, когда меня, как всех девочек в интеллигентных семьях, посадили за пианино. В музыкальной школе из-за здоровья я учиться не могла, и ко мне приходила учительница, но я учиться музыке не хотела и залезала от учительницы под диван. Бабушка, пытаясь убедить меня учиться, каждый раз настойчиво втолковывала мне, что музыка – это «кусочек хлеба», что, умея играть, я всегда смогу найти уроки, подработать в детском садике, что это большое подспорье в жизни, но меня эти бабушкины доводы только отворачивали от музыки. Как сейчас помню, что я, прячась под диваном, передергивалась от презрения, слыша этот «кусочек хлеба». Если бы бабушка рисовала мне прекрасные картины того, как

с помощью музыки можно уноситься в другой, без сомнения, лучший мир, очаровывать слушателей, приобретая над ними таинственную, добрую власть, давать выход образам, которые переполняют и не могут найти иного воплощения, чем через неуловимый и чудесный мир музыки, я бы, как за дудочкой крысолова, выползла из-под дивана и пошла к пианино. Но моей практичной, пережившей так много бабушке и в голову не мог прийти подобный метод убеждения. Как хотелось ей защитить меня! Вооружить, подстелить соломки, обезопасить. Уж кто-кто, а она-то знала: чем большими навыками владеешь, тем больше шансов выжить. «Из нас, четырёх сестёр, только Ольга научилась играть по-настоящему. И что же? Она всегда была при деле, у неё всегда были уроки, и она имела возможность наряжаться и делать подарки матери и сёстрам. Музыка – это хороший приработок. У себя в НИИ она получала копейки, но не бедствовала». Но я не хотела слушать. Едва дождавшись, когда учительница уйдёт, я вылезала из-под дивана и бежала в свой цветочный мир, вырезанный из открыток и разложенный по всему полу в моей комнате. Розы, розы, розы, огромные, бархатные, томные, шелковистые, чайные, всевозможных цветов и оттенков, в росе и без, в букетах и отдельно, изредка тюльпаны, реже гвоздики (слишком жёсткие), и, как капли, что-нибудь экзотическое – подснежники, фиалки – их так редко печатают на открытках, и самые симпатичные зверюшки, и принцесса этого царства (моё alter ego), девочка-снежинка, ради которой всё цветёт и красуется. И музыка лилась там сама по себе, извлекаемая без труда и никак не могущая быть связанной с понятием «кусочек хлеба», его там просто не существовало. Единственная опасность, которая угрожала моему царству, была бабушка с веником, которая боролась с пылью, охраняя меня от аллергии. У бабушки доставало сил пододвигать чуть ли не каждый цветочек, орудуя влажным веником, не выбросить и не повредить ни одной бумажки. Я истошно верещала, заслоняя собой бумажные цветы, моя вселенная была на грани катастрофы, а бабушка, изловчившись подмести ещё один кусочек пола, кричала, что девчонка хамка, не ценит заботы, что опять надыхнется пылью и загремит в больницу.

Вырвавшись из больничной палаты на простор моего цветущего сада, я получала единственно дозволенную, но такую необходимую и ничем не ограниченную свободу. Свободу лишиться тяжести и перелетать с цветка на цветок, свободу устанавливать свои законы природы, свободу впитывать и дарить такую любовь, какую мне было угодно вообразить и почувствовать. Стоило ли давать мне так уходить в выдуманный мир? Стоило ли так беззаботно относиться к чрезмерной фантазии? Бытие на грани аутизма. Из него не было мостика в реальность.

По временам нашу квартиру заливало море живых цветов. Студенты, аспиранты, абитуриенты задаривали бабушку бесконечными букетами. Сначала заставлялись все вазы, потом в ход шли банки и бутылки, и всюду, во всех комнатах, на столах, шкафах, подоконниках, иногда в вёдрах на полу, стояли цветы. Особенно мне запомнились пионы, они быстро осыпались, образуя на полу или на столе розовые, малиновые, белые горки лепестков. Даже опавшие, лежавшие горкой их лепестки, как будто оставались целым цветком. Можно было их взять в пригоршню и устроить «дождик», или готовить еду для кукол, или «посадить» их, живые, в своём бумажном саду. А бабушка любила гладиолусы. За то, что долго стоят, и за то, что на них распускаются все бутоны.

Дети, не знающие голода и холода, не представляют себе ситуацию, в которой надо что-то делать для того, чтобы элементарно поесть. Кусочек хлеба я понимала буквально, и в моём воображении рисовалась этакая мало-аппетитная чёрная корка. Было бы ради чего стараться! Гораздо большее впечатление на меня производили бабушкины рассказы, как она в «хорошие времена», закатывала балы-маскарады на весь двор. «Я устраивала „ёлки“ и приглашала всех детей со двора – от трёх до четырнадцати лет – и каждому клала под ёлку подарок. У меня никто не уходил с пустыми руками. Каждому делала пакетик: апельсины, конфеты, яблоки, и какую-нибудь игрушку. У меня собиралось до сорока детей, мы всю ночь с Фёдоровной (нянькой)

паковали подарки. Читали стихи, пели, разыгрывали сценки. Эти праздники помнили потом весь год». Это было здорово! Это было понятно и поражало, потому что в моём детстве так уже никто не делал. И эта бабушка, так просто одаривавшая весь двор, толкует о каком-то куске хлеба? И совсем уже потрясал меня рассказ о бальном платье для Нельки, девочки, у которой была мачеха, этакая «Золушка» наяву, где в роли феи выступала моя собственная, ворчливая, всегда строго и скромно одетая (в тёмно-синий костюм), седая, властная, тяжёлой походкой в туфлях сорок первого размера рассекающая по улице бабушка. «Сарычиха, мерзавка, купила Нельке розовый материал, своим дочкам купила белую ткань, а Нельке розовую, только чтобы унижить девочку. Все девочки на выпускной бал пойдут в белом, а Нелька, бедная, в розовом. (Я: „Бабушка, но розовое – ведь тоже красиво!“ Бабушка: „Ну не ходили тогда в розовом на выпускной бал, принято было в белом, и Нельке, конечно, было очень обидно, что ей не купили белого, тем более, она же понимала, что мачеха хочет её унижить“). Я пришла к Сарычихе, говорю: „Что же это вы, Тамара, такая жестокая, почему вы не купили Нельке белый материал на платье?“ А она, мерзавка, глазки скосила и елейным таким голоском отвечает: „Не хватило. А какая разница?“ Я взяла Нельку за руку, повела в магазин, купила ей белой ткани, потом пошли к Валентине (она была мастерица, обшивала весь двор), и Валентина за сутки сшила платье, и Нелька на выпускном балу была как все. Она была счастлива, что у неё белое платье, не хуже, чем у других девочек».

Все девочки в детстве мечтают быть Золушками, чтобы явилась непонятно откуда Фея и сделала их счастливыми. Моя бабушка в детстве, видимо, мечтала стать феей, тем более, что феей на самом деле стать легче: не надо ждать ничего, всё в твоих руках.

Если уж мы заговорили о Золушке и Фее, невозможно не упомянуть о туфельках, ведь туфельки – это чуть ли не самая главная часть сказки, символ. Скажешь «хрустальный башмачок» – и всем становится ясно, о чём речь. Насколько я помню, бабушка не дарила Нельке туфель, ограничилась платьем, но у бабушки были самые настоящие серебряные туфельки, что непременно доказывает мою гипотезу о том, что она была фея. Начну сначала.

У бабушки в комнате стоял, как водится, шкаф, забитый всяким тряпьем. Я любила прятаться в этом шкафу, воображая, что это мой домик, моя пещера, моя норка, и никто меня там не найдёт. Бабушка, обыскав весь дом, наконец, догадывалась, что я сижу в шкафу, и начала ругаться, выгоняя меня оттуда. Аргументы были всё те же: в шкафу пыльно, пахнет нафталином, опять надышишься и заработаешь приступ. В этом шкафу мы с сестрой как-то раскопали чудесные длинные газовые платья, которые в юности носила моя мама. Мы надевали их и превращались в принцесс. И там же в шкафу я обнаружила серебряные туфли, которые бабушка хранила со времён своей юности. Сейчас она уже не могла влезть в них – нога растопталась и опухла. Туфли были удивительно изящны, на тонком каблучке, с острыми носами, очень открытые спереди, и держались на ноге с помощью переплетения тонких ремешков. Беда была в том, что они были огромны. «Подожди, вырастешь, тогда и будешь носить», – говорила бабушка. Туфли терпеливо ждали своего часа. Но хотя я и не могу похвастаться миниатюрностью ножки, всё-таки они мне остались безнадежно велики. «Подложи в носок ваты и ходи», – советовала бабушка. Но я и так страдала, что на фоне своих подруг выделяюсь большим размером, так что ещё увеличивать себе ногу, пусть даже и очень красивыми туфлями, не хотела. У сестры была вообще крошечная ножка. Бабушка, хмыкнув, рассказывала, что, когда она ходила на званые вечера своей юности, она покупала туфли на размер меньше и, возвращаясь, хромала. Подруги, я думаю, не без внутреннего ехидства, сочувственно замечали, глядя на её огромные туфли: «Нюсенька, тебе наверное туфли велики, поэтому у тебя и походка такая... странная?» И бабушка, естественно, соглашалась: «Да, велики, спадывают». Я думаю, в войну бабушке не удалось обменять эти туфли на еду, потому что они были очень большие и не подходили никому.

... Вот вам и разгадка тайны – кто такая фея. Если Золушкина туфелька была всем мала и только Золушке впору, то туфелька Феи всем велика, редко кто дорастает...

Удивительным образом пространства, окружавшие меня в детстве, словно дождавшись своего часа, появились откуда-то и окружили меня снова, сейчас, когда я уже ничего не могу с ними сделать. Это окно, к которому я прижимаюсь носом, открывает мне только небольшой кусок улицы, пустынный, не приближается по нему ко мне кто-нибудь родной или знакомый; эта лестница, столь доступная с виду, на самом деле закрыта головокружением, слабостью, да и зачем спущусь я по ней? Как некогда, в юности, восклицала я впервые: «Так вот оно какое, счастье!», так теперь пришла пора сказать: «Так вот ты какая, немощь. Так вот что ты такое, нищета». Как я понимаю тебя, бабушка! Как хотела бы я, чтобы у детей и внуков моих был этот кусок хлеба, и было, как достать его. Поздно я додумалась, что готовность его заработать и делает человека щедрым. А если делать это безрадостно, то жизнь превращается в муку...

... И ощущение исключительности, избранности, уникальности, даже какого-то миссионерства, которое было в детстве, заменяется постепенно неоригинальной мыслью о том, что люди – это всего лишь вид тараканов, думающих о том, как бы поесть и вырастить потомство. И если тебя уничтожат кипятком, дустом ли или подошвой тапочка, то останется равнодушной не только та сила, которая тебя уничтожила, но даже и тараканы из твоего стада...

История про Гельку

История про Гельку врезалась в мою память ярче, чем другие бабушкины истории. Однажды, пробегая через двор, бабушка краем уха услышала фразу: «А Гелька-то гори-и-и-т». Не оставляющая без внимания ни одну мелочь, бабушка затормозила и обернулась на голос. Ковыряя грязь носком ботинка, соседская девчонка с идиотским равнодушием тянула: «А Гелька-то гори-и-и-т». И бабушка тоненьким голоском пропевала эту фразу, стараясь передать выражение идиотизма, написанное на лице соседской девчонки.

– Я говорю, кто горит? А она мне: «А у Галеевых пожа-а-а-р». И пальцем показывает. Такая дурища! Ведь лет тринадцать уже! Даже не сказала никому! Стоит и тянет: «А Гелька-то гори-и-и-т. А у Галеевых пожа-а-а-р». Я смотрю: из окна дым валит. Стучу в квартиру – дверь заперта, я за дворником, кричу: «Бегом, надо дверь высадить, там могут быть дети!» А он ни в какую, только что им, говорит, замок новый поставил, опять ломать! Заставила его всё-таки, побежали, он дверь высадил плечом, а там дым валит, ничего не видно, слышу: пищит кто-то, я кинулась туда, – младшая ползает, цела-невредима, только испугалась, я её дворнику сунула, стала дальше искать, в кухне нашла старшую, Гельку, она вся обгорела. Я её в одеяло, в охапку и домой. Дома развела марганцовку в тазике и её туда посадила, и стала обливать. Соседка их, Анастасия Фёдоровна, вызвала пожарных и «скорую». Я Гельку обливаю марганцовкой и входит врачиха. Вошла, охнула и уставилась на меня. Мне на ноги показывает. Я посмотрела на свои ноги – боже мой! Кожа лохмотьями свисает! Сгорела вся! А я и не заметила. Кстати, она мне потом сказала, что я всё правильно сделала. При ожогах нужен слабый раствор марганцовки. Если бы я Гельку не посадила в марганцовку, её бы не спасли, или бы рубцы остались. Мать, халда, ушла, оставила дома двух детей, Гельке было лет семь и младшей года три. Они затеяли стирку для кукол. Гелька платье промочила, подол над плитой подняла и стала сушить, а платьице капроновое и вспыхнуло на ней. Живот сильно обгорел и ножки. Так мать Гельки мне потом и спасибо не сказала. «У меня, – говорит, – там мебель была дорогая, а пожарные всё залили». Халда! Ей ребёнок не жалко, а мебель жалко!

Гелька и сейчас горит у меня в памяти, и сейчас звучит неумолкаемое: «А Гелька-то гори-и-и-т», и я вижу бабушку, стоящую над тазом с марганцовкой, растерянно взирающую на свои ноги, с которых свисают клочья обгоревшей кожи.

Вообще, спасение всевозможных гибнущих было неотъемлемой чертой бабушки, сродни тому, как человек не способен не выдыхать углекислый газ, так бабушка была неспособна не распространять свою опеку на всех нищих, бедных, бездомных, ненормальных, опальных и просто несчастных. Естественно, все домашние были вынуждены считаться с этим, терпеть и помогать (иногда скрипя зубами) данной категории граждан. Как она не погорела во время тотальных чисток партии (она ведь была коммунисткой) уму непостижимо, так как она, ничтоже сумняшеся, поднимала свой партбилет при голосовании «против», когда весь зал голосовал «за». Её не замечали, видимо, потому, что никто из президиума и не догадывался глянуть в зал, когда спрашивали «кто против?», подразумевалось, что идиотов не найдется, а люди, которые сидели рядом с бабушкой в зале, оказались достаточно порядочными, чтобы не написать донос. Что же касается битв за человека, проходивших в маленькой аудитории, где каждый человек на виду, то они, слава Богу, велись бабушкой уже в то время, когда Сталинский терроризм был на излёте. Но безрассудно смелая, когда дело касалось её, она становилась свехосторожной, когда дело касалось внуков. Помнится, я уже упоминала, что у бабушкиных родителей была дача в Финляндии. С этой дачей, точнее с документами на эту дачу, произошла забавная история. Как известно, после падения коммунистов в России повеяло свободой. По крайней мере, стало можно говорить, всё, что хочешь, делать тоже многое из ранее запрещённого, и, среди прочего, гордиться своим дворянским происхождением. Возник даже вопрос, а не вернуть ли поместья потомкам бывших владельцев? И тут бабушка обронила: «А ведь у меня хранится где-то бумага, не помню уж купчая ли, или что-то другое, но там говорится, что Штольцам фон Доннерсгеймам принадлежит поместье в Финляндии. Что тут началось! Внуки загорелись с помощью этой бумаги отсудить своё родовое поместье: «Бабушка, найди! Бабушка, отдай! Такой шанс!» – «Да что вы, с ума сошли?! Всё это уже давно устарело, не имеет силы, а если вы с этой бумагой сунетесь куда-нибудь, вас живо загребут!» И несмотря ни на какие просьбы, доводы, скандалы, бабушка, которая хранила эту бумажку все годы, когда сознаваться в принадлежности к классу помещиков, было действительно опасно, уничтожила её сейчас, когда наличие подобного документа поднимало реноме семьи в глазах окружающих. Бабушка не верила в «свободу». Она прожила достаточно, чтобы быть уверенной в коварстве власти, и считала, что «свободу» объявили для того, чтобы «загрести» простофилю, которые на эту удочку попадутся. Она никогда не была «верной ленинкой» и к вступлению в партию относилась чисто практически: надо для карьеры, значит вступим. Точно также, с практической точки зрения подходила она и к молитвам, которым, конечно, была обучена в детстве: «Прочитаешь три раза «Отче наш» – и яйцо всмятку готово». (Она не верила в Бога. Слишком рациональна была для веры. «У меня нет доказательств. Вот когда будут доказательства, тогда и поверю».) Она прекрасно понимала деяния коммунистов и рассказывала мне, что в тридцать седьмом году чистки были просто по алфавиту, ни за что, и одна знакомая предупредила её: «Нюсечка, скоро начнутся чистки на «Ш», уезжайте из Ленинграда». И ещё она говорила, что, когда людей забирали, они молчали и уходили безропотно. Но был один случай, когда мать не дала увести свою беременную дочь. Пришли двое, хотели забрать дочь, а мать вцепилась в неё обеими руками и начала кричать: «Не отдам! Не отдам! Вот родит, тогда и приходите, а сейчас не отдам!» Она так орала, так блажила, что те двое ушли. А потом никто не пришёл за дочерью, забыли наверно, и она спокойно родила и вырастила ребёночка.

Бабушка, как, откуда знала ты, как вести себя в это время? Кто научил тебя? Я, с ужасом анализируя себя, понимаю, что я бы поверила всему, что говорилось с трибун, и я на самом деле поверила в близость коммунизма и была искренней комсомолкой, и если бы, не дай Бог, мне довелось жить в то страшное время, я стала бы одной из самых одержимых сторонниц и участниц охоты на ведьм. Как хорошо, что система вовремя развалилась, это не позволило мне превратиться в того, кого я сейчас боюсь и ненавижу. Но, вживаясь в тебя, я вижу, что тебе

даже не пришлось делать выбор, для тебя его не было, ты знала, знала, что надо делать так, ты с этим родилась, как будто готовая к тому, что, наверно, бывает на веку каждого – время предательств и доносов.

Вступление в партию дало ей дополнительные рычаги для оказания помощи обездоленным. Часами просиживая на ступеньках райкомов и горкомов, она таки подстерегала нужного чиновника, преграждала ему путь, крепко брала за пуговицу и очень настойчиво втолковывала ему, что А*** нельзя исключать из партии, В*** срочно нужно выделить квартиру, С*** – детский садик, D*** нельзя увольнять, N*** наоборот, нужно взять на работу, Х***, Y*** и Z*** тоже заслуживают лучшей доли. И в большинстве случаев добивалась своего. Чиновник просто терялся от её бешеной энергетике, ясных, лучистых, а лучше сказать радиоактивных голубых глаз, которые находились на расстоянии согнутого локтя (напомним, бабушка сразу достаточно крепко хватала чиновника за пуговицу) и норовили приблизиться. Не мог же чиновник (в основном, это были мужчины) грубо оттолкнуть всё ещё красивую женщину, проникновенно заглядывающую ему в глаза и обладающую даже на первый взгляд сильными, цепкими пальцами?

Ах, эта пуговица! И когда же у тебя, бабушка, выработалась такая привычка, налаживать связь с человеком посредством неё? Может, подсознательно, ты компенсировала то, что тогда, в самый решающий момент, ты отпустила её и, отпустив, дала уйти единственной любви, не удержав, таким образом, совершенно иной вариант своей жизни. Ты чувала неосознанно, что, стоит отпустить пуговицу, и всё – уже навсегда потеряешь то, что хочешь, уже ушло, ускользнуло, не подвластно. Или ты помнила об этом и мстила им всем за свою прежнюю нерешительность, за ошибку или за то, что тогда не отпустить было невозможно, зато сейчас, человек, схваченный за пуговицу, целиком в твоей власти, и ты отпустишь его только тогда, когда сама этого пожелаешь, когда выжмешь его, как лимон, когда он пообещает сделать для А,В,С, ...Х,У,Z*** в два, нет, в три раза больше того, чего ты просишь, подпишет любые бумаги, отречётся от мамы и от Родины, и он, чувствуя это, соглашался на меньшее зло, дабы не пасть совсем, и убегал от тебя с мыслью о том, что он добрый и помог людям и смутным ощущением того, что легко отделался.

Конечно, с женщинами этот фокус не проходил. Хорошо, что их было не много тогда в тех кабинетах, у которых дежурила бабушка. Тогда в ход шли подарки, обещания, призывы к сочувствию. К женщинам бабушка вообще относилась с большим недоверием. И будучи уже заведующей кафедрой, всегда старалась брать на работу мужчин. Помню её наставление: «Твоя лучшая подруга – самая большая змея». Она знала, о чём говорила, ведь в юности она сама из коварства и женского тщеславия уводила поклонников у своих подруг.

– Нюсечка, ты не знаешь, куда подевался Владимир? Ухаживал, ухаживал и вдруг куда-то пропал.

– Да я его видела вчера в театре с одной стройной блондинкой.

– Да?! ... Ну и как она?

– Очень мила.

И бабушка невозмутимо продолжала разговор с подругой, умалчивая о том, кто была эта стройная блондинка, не будем поднимать завесу тайны и мы. Но я помню, как при воспоминаниях об этом, в глазах бабушки вспыхивал на секунду зелёный огонёк, и она довольно ухмылялась. Желание быть змеёй просыпается во мне достаточно часто, сначала я мучилась комплексом вины, а потом махнула рукой – это у меня от бабушки, и ничего тут не поделаешь.

Но, конечно, ни бабушку, ни её братьев, сестёр и родителей не спасло бы ничего: ни должности, ни научные звания, ни известность, ни связи, если бы Судьба не замыслила другой конец – никто из рода Штольцев фон Доннерсгеймов не был репрессирован, но рода этого больше не существует, так как уже поколение назад не родилось ни одного отпрыска мужеского

полу. Разумеется, речь идёт о российской ветви, так и не признанной немецкими однофамильцами (?)

Одной из бабушкиных подопечных была Харитина, которую бабушка называла «моя очередная сумасшедшая». История Харитины кажется мне чрезвычайно поучительной, а так же, в некотором роде, служит предупреждением и провозвестником того, что может случиться с каждым, а посему занесена она на страницы моего романа. Итак...

История про Харитину.

Харитина была высокая, костлявая старуха со странным блеском в глазах, однако очень приветливая и ласковая. Пару раз бабушка брала меня с собой навестить Харитину, и та начинала трещать и суетиться, выказывая гостеприимство. Бабушка бесцеремонно покрикивала на Харитину, заставляя её успокоиться, потом они садились и обсуждали что-то. Бабушка подкидывала Харитине денег, а также кофту или платье со своего плеча. Харитина очень радовалась подаркам, потому что была бедная, и в следующий раз я уже замечала, что она в бывшем бабушкином наряде. Харитина жила вместе с Зоей, другой старухой, помоложе и покрепче, в стареньком деревянном домике на краю города. У них была куча кошек, собака и козы. Зоя и Харитина не были родственницами, просто были прописаны в одном доме. И вот пришло время, когда их дом стали сносить, а им предложили на выбор: одну двухкомнатную квартиру на двоих, или по однокомнатной на каждую. Бабушка принимала живое участие в делах Харитины и настаивала, чтобы Харитина ехала с Зоей. Зоя была не против, так как у неё были родственники, и она хотела, чтобы после Харитиной и её смерти родственникам досталась двухкомнатная квартира. К тому же она к Харитине привыкла, жалела её, так как видела, что Харитина становится слаба. То же самое Харитине говорила и бабушка. Я помню, как она однажды приехала от Харитины и возмущалась на весь дом Харитиной глупостью: «Ей говоришь, а она – ни в какую! Как об стенку горох! Через месяц-два она сляжет, а кто будет за ней ухаживать? Я не могу, я тоже живой человек, у меня внуки, кафедра, ездить на другой конец города! Тут бы Зоя присмотрела, всё-таки живой человек рядом, столько лет живут вместе. Так эта дурища заладила: «Не покорюсь!», и бабушка, передразнивая Харитину, делала ударение на оба «о» – «Зойке не покорюсь!» Конечно, Зоя командует, покрикивает на неё, но ведь надо трезво смотреть на вещи, как она будет жить? Но что говорить, она ведь ненормальная!» Сколько раз бабушка с горькой иронией повторяла это Харитино «не покорюсь!» Потому что всё произошло так, как она предсказывала: не успела Харитина переехать в новую квартиру, как слегла. Бабушка была в отчаянии. Наконец, нашли молодую пару, Таню и Серёжу, которые за прописку согласились ухаживать за Харитиной. Но на этом эпопея не закончилась. Бабушка ездила инспектировать положение дел. Каждый раз, возвращаясь страшно усталая, взвинченная, она долго не могла успокоиться, пересказывая по десять раз родным и знакомым то, что увидела. Харитина без конца жаловалась. Жаловалась, что ездят редко, кормят плохо, что она голодает, что хотят её со света сжить, чтобы получить квартиру, что грубы, что зря она не поехала с Зоей. Бабушка яростно размахивая веником или вонзая нож в картошку, возмущалась: «Суп на плите прокисший стоит, когда он сварен, три дня назад? Всюду грязь: Харитина кашу просыпала, убрать не может, постель у неё мокрая, ну что за бессовестные люди, лишь бы квартиру получить! И бабушка ехала на встречу с Таней и Серёжей. Возвращалась она несколько подавленная и возмущённая уже Харитиной. «Говорила я ей: езжай с Зоей, так она – «не покорюсь!» Ну что она теперь думает делать со своей свободой? Она теперь свободна! Надо было её заставить ехать, да как? Она ведь сумасшедшая. Таня с Серёжей учатся, работают, не могут они ездить каждый день! Таня приезжает два-три раза в неделю. Суп ей сварит – та не ест. В холодильник не поставишь – Харитина открыть не может. Кашу сварит – эта опять выламывается, требует бутерброды, а у самой зубов нет! Таня приедет, уберёт, при-

готовит, переоденет и уедет, некогда ей с Харитиной нянчиться. И приходится ей по три дня одной сидеть. Уж и до туалета дойти даже не может, всё под себя. Слезет с кровати, упадёт и ползает мокрая по квартире, а обратно залезть уже сил нет. Таню тоже можно понять, приятно, что ли, с грязными штанами возиться? Она и так каждый раз постельное бельё стирает, да одеяло как-то сушить надо. Я тоже не могу ездить часто, сама свалюсь. Да и мне не поднять её на постель, она пудовая, приходится звать соседку. Что делать? Что делать?» И так ровно через раз, приезжая домой, она то принимала сторону Харитины, а то – Тани и Серёжи. Я с замиранием сердца слушала про Харитину. Харитина в моём сознании вырастала до неба, превращаясь в огромную Бабу Ягу (она была на неё похожа), она была страшная и противная, и я представляла, как она в грязных штанах ползает по квартире, опрокидывает на себя прокисший суп, ослабевшими от голода пальцами собирает с полу просыпанную кашу, ест её, потом ползёт к двери, слабой рукой стучит в неё, зовёт, зовёт, а никто не приходит. В общем, все бабушкины рассказы оживали в моем воображении. И я жалела Таню и Серёжу, представляя, как они открывают дверь, а им в нос ударяет страшный запах, и они видят полу-умирающую старуху в луже на полу, и им приходится каждый раз отчищать квартиру, мыть Харитину, стирать бельё и уходить, зная, что без них она снова будет беспомощна, не сможет нормально поесть, упадёт, но они не могут дежурить рядом с ней, и они уезжают, и в следующий раз им опять придётся возвращаться в этот кошмар. Я с содроганием представляла себя то Харитиной, то Таней и Серёжей, и то и другое мне казалось ужасным. Бабушка, проклиная «ослиное упрямство» Харитины, «чёрствость» Тани и Серёжи, гололёд, усталость, транспорт, продолжала мотаться на другой конец города в промежутках между приездами Тани и Серёжи, чтобы покормить Харитину, сменить ей бельё и поднять её с полу. Но однажды Харитина умерла. Бабушка опустошённо села на свою кровать и сказала: «Ну вот, отмучалась. А Таня и Серёжа сейчас получают квартиру. Что ж... – Она помолчала. – Зоя бы за ней лучше ухаживала, может, и прожила бы подольше... Но не захотела. – Она снова помолчала. – Сейчас сделают ремонт, переедут и забудут Харитину. Ну что ж, пусть живут, пусть живут. Всё кончено».

Обладая такой железной волей, решительностью, деятельным характером, бабушка, конечно, томилась в рамках своей профессии. Когда она беседовала с докторами о моих бесконечных диагнозах, профессионально оперируя медицинскими терминами на латыни (а бабушка знала одиннадцать языков), они считали, что разговаривают с медиком, и очень удивлялись, узнав, что она филолог. Она и сама говорила, что, если бы не те времена, стала бы врачом.

– Да что ты, какая медицина, детей дворян в то время близко не подпускали к вузам! Отцу, хоть он и был профессор и принял революцию, с трудом удалось сунуть меня на историко-филологический, и то, потому что не хватало учителей.

Ах, эти вечные «те времена»! Они научили тебя выживанию в любых условиях, быстроте реакции и практическому оптимизму. Когда в нашей жизни наступил период под названием «Перестройка» и запахло очередным в твоей жизни и первым в нашей голодом, именно ты бодро произнесла: «Картошка есть. Постное масло есть. Ничего. Выживем». А сколько раз вдоволь картошки и постного масла было несбыточной мечтой для тебя! Я помню, как ты описывала приготовление какого-то немислимого супа в годы войны: пара картошек, горстка крупы, ложка постного масла и литра два воды, – на кучу народа. Горячего похлебал, желудок заполнил, вроде поел и дальше бежать. «Я работала на трёх работах, всюду лезла без очереди, меня уже знали, как подойду, так бабы в очереди галдят: «Вот эта в беличьей шубке всегда без очереди лезет!» А я лезла, потому что, когда мне было стоять? Три работы, бегом с одного края города на другой, транспорт не ходил, трое детей. Марик в садике, Катю отводила соседке, а твоя мать лежала одна в кроватке. Она была такая слабенькая, что даже не воро-

чалась, и я не боялась, что она упадёт. Прибегу, покормлю, перепеленаю и снова оставляю одну. Не знаю, что уж она у меня там сосала, я сама была худая, как скелет, вечно голодная. Не удивительно, что она заболела дистрофией. Это потом уже её забрали в ясли и откормили там манной кашей. Она стала толстенькая, весёлая. Её так накормили там манной кашей, что она её до сих пор ненавидит. Твоя мать лежала тихо, не плакала, у неё на это не было сил, Марика худо-бедно кормили в садике, а Катя кричала по ночам: «Леба! Леба!» (хлеба, то есть), а мне нечего было ей дать. Она меня изводила этими криками. А Валерий жил в заповеднике, кум королю! Алексей (бабушкин брат) ушёл на фронт добровольцем и умер там от воспаления лёгких. (Тут мои представления о войне, почерпнутые из книг и школьного воспитания, резко вступали в противоречие с тем, что говорила бабушка. Разве на войне умирают от воспаления лёгких?! Да это просто нонсенс какой-то!) А у него была бронь, его только время от времени отправляли на какие-то работы, у них там были козы, было молоко, держали кур, картошка была, конечно, а мы голодали, я падала на ходу, а он не догадывался приезжать, подкармливать нас. Приедет раз в два месяца, привезёт баночку молока и всё! Я её потом растягивала, как могла, понемногу подливала в суп. Мама лежала, не могла встать от слабости и плакала, дай мне молока, а я не давала, мне надо было растянуть подольше. Она уже с ума начала сходить от голода. Она лежала и делала руками такие движения, как будто кого-то ловила в воздухе и совала себе в рот. Ещё и любовницу себе завёл! Мы объединились в женскую коммуну и так выжили. Одна смотрела за детьми, одна бегала по городу, выискивала, что где можно найти съестное, а я работала в трёх местах, получала карточку служащего и иногда что-нибудь дополнительно перепадало. Все с ужасом ждали похоронок, те, у кого мужей не взяли на фронт, трепетали, что придёт повестка, только я и ещё одна женщина желали своим мужьям смерти. (Тут я внутренне содрогалась. Моё сознание бунтовало против того, что моя родная бабушка могла желать смерти кому-нибудь из «наших» во время войны! Неважно, что он был мой дед, я вообще видела его один раз в жизни, но как она могла! Слишком сильно я впитала идею о нашем единстве в борьбе с фашистами. Во имя ненависти к врагу все должны были отказаться от всех других видов ненависти, от всех других чувств вообще, от желаний, от обид, от всего, что мешало мечтать о победе, приближать победу, умирать за победу. И как можно было рожать ребёнка в сорок третьем году?!)

– Как раз накануне войны я не стала рожать. Какой он устроил дикий скандал! Орал, визжал, топал ногами! Как я посмела убрать его ребёнка! Ставил мне ультиматумы один чудовищнее другого. Я думала, рожу, он станет снова ко мне по-человечески относиться. Успокоится. Мы ведь какое-то время, когда переехали из Ленинграда в Пермь, уехали от свекрови, неплохо жили. Потом, правда, снова начались ночные истерики: «Не любишь! Не любишь!» Потом и любовницы пошли. И никто же не предполагал, что война так надолго.

Я думаю, что в череде напастей, на которую пришлась твоя жизнь: революция, гражданская, репрессии, – эта война воспринималась тобой просто как ещё один барьер, ещё одна полоса препятствий, которую надо преодолеть, не переставая при этом жить. Ибо, благодаря твоему бойцовскому характеру, у тебя выработалась некая, я бы сказала даже биологическая устойчивость к такому фактору как нависшая над тобой угроза смерти. Эта угроза смерти в твоём случае не была абстракцией (каждый может умереть, попав, например, под машину). Уже одна революция чего стоила! Ведь пули были направлены прямо в вас. Одно из твоих самых ранних детских воспоминаний, ставшее теперь уже и моим: мама и бонна вытаскивают всех детей в коридор, обкладывают стены матрасами и кладут детей на пол, потому что с обеих сторон стреляют, и пули могут попасть в комнаты. Судьба отвела их руку! В отличие от нашего времени, когда массы, захватившие власть, стреляют, в основном, сами в себя. (Это время, как-то вдруг стало «нашим», то есть, приобрело ряд характерных признаков, которые ты даже не можешь представить. Помнишь, как вдруг неподалёку выбросили в продажу кра-

сивые туфли? И ты заняла очередь и купила, с бою, три пары, для дочерей и невестки? Так вот сейчас по городу ходят молодые люди в костюмах (даже в жару) и навязывают всем разные товары, которые никто не берёт в магазине! И это считается профессией, вот смех, для молодых, сильных, здоровых мужчин!)

И туберкулёз свой ты победила только силой характера.

– Да, я всю весну лежала на солнце, укрытая десятком одеял, а мама и сёстры меня откармливали, как на убой. И я поправилась. К осени я уже была толстенькая, и каверны затянулись. У одной моей приятельницы сын заболел туберкулёзом. Лёг, отвернулся к стенке, ни с кем не разговаривает, приготовился умирать. Я пришла к ней в гости, принесла гостинцев, сели пить чай в той же комнате, где он лежит. Я ей рассказываю, как меня мать с сёстрами откармливали, как я ела шоколад, масло, яйца, топлёное молоко пила и поправилась. Она меня спрашивает, я рассказываю, как от хорошего питания каверны затягиваются, что главное – питаться хорошо и свежим воздухом дышать, а его мы как будто не замечаем. Смотрю, он завозился, стал прислушиваться. Мы глазами на него друг другу показываем и дальше – разговаривать. Смотри, говорю, Галюшка, какая я стала плотная, и дети у меня, трое, и работа, и всё успеваю, и не болею даже, некогда. Попили чай, распрощались, я ушла. А через некоторое время она ко мне прибегает, благодарит, Павлик встал, стал есть, гулять, посвежел, окреп. Так он и поправился, этот Павлик, где он сейчас не знаю, но семья у него, мы долго с Галюшкой поддерживали отношения, она мне про него рассказывала, благодарила, что я тогда так хитро придумала и спасла ей сына. Нельзя поддаваться, надо бороться, надо питаться хорошо и сопротивляться болезни. А когда Марик заболел, уже был пенициллин, и его спасли. Он был такой слабый, что без пенициллина он бы не выжил. Врачи мне сказали: пенициллин и кормёжка, и я каждую неделю корзинами таскала еду в санаторий. А Валерий, такая сволочь! Съездил два раза, отвёз пачку печенья. И хоть бы помог мне! Я тащусь, надрываюсь, ползу в гору, волоку корзины, сливки, масло, яйца, шоколад, фрукты, – недельный запас, а он шагает налегке, несёт пачку печенья и как будто не видит меня! Ну что за сволочизм?! Не помочь женщине тащить тяжести! Для собственного ребёнка! Я с содроганием вспоминаю эту гору перед санаторием, километра три, там я и надорвалась, наверно. И такой позёр! В санатории и так и этак перед медсёстрами и врачами, такой джентльмен, такого интеллигента из себя изображал! Сволочь!

Никто не умеет так произносить это слово, по крайней мере, я ни от кого не слыхала. Бабушка произносила «сволочь» так, как будто это было единственное слово на языке аборигенов, которое она знала и которое по счастливой случайности обозначает как раз то, что надо.

Я, наверное, зря это сделала. Я, когда шла в партком, уже тогда чувство меня какое-то грызло, не то я что-то делаю. А всё равно пошла. Алексей Васильевич, хороший был дядька, не формалист, он ещё отца моего помнил, помолчал так, потом говорит: «Мы, конечно, можем его вызвать, но вы сами понимаете, ему уже в Москве кафедру предложили, он, практически, не наш, ну разве мы его этим остановим? Закона он не нарушает. Взрослые люди. Это мальчишку-студента можно приструнить, а тут... Только шум выйдет, будут склонять доброе имя вашего отца, да и вы потом не отмоетесь». Прав он, конечно, был, тысячу раз прав. И я сказала: «Нет. Не надо его вызывать». Пока я детей поднимала, работала на десяти работах, он успел в заповеднике и докторскую написать и новую семью завести. Где же тут порядочность? И надо мне было скандалы закатывать? Из-за него в войну родила. Из-за того, что я недоедала, Аська такая слабенькая родилась, болезненная, лечу её, лечу, конца краю не видно. Я люблю её безумно, но зачем было требовать ребёнка? И сын уже был и дочь. Ребёнок тебе нужен – родила, войны не побоялась, зачем же тогда новую семью заводить? Конечно, плохо он ко мне относился, но ведь – трое детей. Худо-бедно полжизни прожито. Любви ему не хватало! Нашёл, видно, наконец, свою любовь. Не знаю... Привязанность была... Даже необходимость какая-

то возникла... Была семья. Наши родители не разводились. Не было принято. Есть семья, есть дети, живи. Нет – седина в бороду, бес в ребро. Дети без отца. Я старалась сохранить им отца. Спросила их, с кем хотят жить, все остались со мной. Естественно, я уже не такая, как раньше. Волосы седесть стали быстро, у меня уже не та золотая головка, какая была в юности. Зубы крошатся, выпадают один за другим, от зубного не вылезает. Это всё от нервов, от недоедания. Но даже седая и со вставными зубами, я всё равно красивее этой его Гомозиды! Даже сейчас! Я недавно вернулась из командировки, была на конференции в Самарканде, заехала в Ленинград, в Москву – и всюду масса поклонников! И с серьёзными намерениями, только согласись! Это был триумфальный вояж! Я блестяще выступила, и мной сразу же заинтересовались, подходили профессора, доценты, обменялась адресами, подписала сборники... Всем хороша, только ему не хороша. ...А я, видимо, к нему сильно привыкла. Устаю я от чужих. Видимо, привыкать смолоду нужно. Вернулась – новая проблема. Вызывают в милицию, говорят: «Вы, Анна Михайловна, в городе человек известный, и мы вас очень уважаем, но если вы срочно что-нибудь не предпримите, ваш сын сядет в тюрьму. Уже всяческое терпение лопнуло, и прикрывать его больше невозможно. Сейчас он у нас в изоляторе, три дня продержим, не успеет больше ничего натворить. Вот за эти три дня что-нибудь решайте». Что делать? Сколько я за ним по подвалам и чердакам лазила, компанию их разгоняла, сама милицию вызывала – бесполезно. Безотцовщина! Позвонила Валерию в Москву, поставила перед фактом: «Посылаю тебе Марка. Устрой его в школу, потом организуй поступление в институт. Спасай сына». Не посмел возразить. Потом побежала в школу забирать документы, каждому учителю – коробку конфет, чтобы написали хорошую характеристику, они прямо просияли все, узнав, что я его забираю из школы. А что было делать? Надо было его отрывать от дворовой компании. Купила костюм, пару рубашек, трусы, носки, вот – сажу на чемодане. Завтра утром заберу из изолятора – и на самолёт. На ночь побоялась взять, подумала – сбежит. А у самолёта Валерий обещал встретить. Вся надежда на то, что Марк немножко притмирел, боится в тюрьму всё-таки садиться. А в Москве хулиганья рядом не будет, дом профессорский. Если Валерий Марка выгасит, всё ему прощу. С девчонками сама справлюсь, не стану навязывать, сама им будущее устрою.

Мужчина хочет невозможного. Смесь бесноватости кошки в момент, когда ей надо кота, и инстинктивной преданности собаки, которую пинком отправляют в угол, а она ползёт и норовит облизать руку хозяина, как бы за это же и извиняясь. И ведь находятся такие женщины. Гомозидка – яркий пример.

Я его понимаю. Женщина, которая всегда имеет в знаменателе пуританское воспитание, засевавшее в голове как необходимое программное обеспечение, бонн и гувернанток, представление о благородном мужчине-рыцаре и Прекрасной Даме, мешанину из классических романов, в том же ключе понятых, достаточно обременительна. Попробуй-ка расшевели каждый раз это такое наследство! Семейная жизнь, конечно, не из мёда состоит, раз сорвался, два сорвался, ан и обидки попали, как вирус в компьютер, вовремя не подлечил – и пиши пропало. Если бы сразу спохватился, а то ведь даже и не заметил. А теперь всё – уже и «железо» поехало, надо менять...

Я изменила тебе только один раз за всю жизнь. Но я выразилась неправильно, я не могла тебе изменить, тебе никогда не нужна была моя верность, что меня в традиционном (буржуазном? дворянском? мещанском? не знаю теперь и в каком) духе воспитанную... ну, шокировало – это слишком мягко сказано. Непонятным для меня образом, это совершенное безразличие к тому, буду я тебе верна или нет, сочеталось в тебе с дикими истериками, вся суть которых сводилась к тому, что я тебя не люблю. Я не слишком рано вышла замуж, и это не была безумная любовь, когда забываешь всё, она возникла позднее, и, не скрою, я вышла за тебя

ещё и потому, что боялась остаться «в девках». Твоё отношение ко мне было тоже достаточно спокойное.

Так вот. Это было сравнительно недавно. Случилось так, что спонтанно организовалась большая компания, разношерстная, знакомые, незнакомые люди разного возраста, кто один, кто с подругой, кто с женой. Но в этой компании оказались, по иронии судьбы разумеется, два человека, один – моя первая, безумная, любовь, а второй – чьей любовью, или скажем, достаточно сильным увлечением, когда-то была я. Случилось так, что эта компания организовалась на берегу реки одним чрезвычайно душным и неимоверно жарким летним вечером, плавно перешедшим в не менее душную и такую же жаркую ночь, которые не часты на Урале. Компания с превеликим удовольствием попивала сухое вино, кое имелось в изобилии, и вот я, наконец, озвучила витающую в воздухе мысль (купальных принадлежностей ни у кого не было):

– Давайте разойдемся подальше, мальчики налево, девочки направо, и искупаемся.

Тот, которого я когда-то любила, скривившись, бросил: «Ну вот, напилась, теперь оголятся и пойдут совокупляться под каждым кустом». Я ответила: «Чем же это плохо? Устроим вакхическое празднество плоти!» Я не уверена, что произнесла именно эту фразу, но что-то в этом роде. Мужчины и женщины разошлись по берегу на достаточное расстояние, разделись и попрыгали в воду. Естественно с визгом и комментариями. Надо сказать, что главной моей заботой было не заблудиться в воде, так как, сняв очки, ночью, я не вижу ничего дальше полутора метров. Надежда была на то, что речка довольно узкая, и если я закричу, меня услышат, и ответными криками дадут направление, в котором плыть. Я поплыла через реку. Собственно, это была не река, а очень вытянутый, узкий залив. Течения не было. Я плыла расслабленная, лениво перебирая руками и ногами, в некоторой эйфории от вина, чудесной воды, невесомости тела в воде, и думала, точнее, думать я была не способна, а пребывала в каком-то нереалистичном состоянии счастья. Визг женщин и мужчин, которые, конечно же, в воде перемешались и нашли друг друга, успокаивали меня, – значит, все рядом, и я ещё не заплыла туда, где меня нельзя будет спасти. Как вдруг на этом безмятежном фоне явственно выявилось чьё-то прерывистое дыхание. Кто-то меня догонял. Какое-то время он плыл рядом молча. Не знаю почему, но я испугалась. Потом он сказал: «Поплыли на тот берег». По голосу я узнала его. Я коснулась ногами дна, и тут он подошёл вплотную. Подобные ситуации случались и раньше, но тогда я, подразнив, отталкивала его. Но не теперь. Меня поразило, каким теплым был песок ночью, и каким горячим, как раскалённые угли, был он. Он, задыхаясь, шептал, что ждал этого случая уже двадцать лет, двадцать лет назад мы с ним познакомились, и что, если бы этого не было, он всю жизнь считал бы себя обделённым, считал бы, что в его жизни не произошло что-то главное. Я опять, кажется, перевираю слова, но смысл был именно таким. А я подумала, что то же самое чувство у меня было по отношению к тому, другому. Очень долго было, но теперь его нет. Я только помню, что оно было. А тот, кого я обнимала, в юности был таким утончённо-интеллигентным, рафинированно-воспитанным мальчиком, и в то же время таким тьюфом. Я сама была такая, и меня тянуло к противоположностям. Он так старомодно и так по правилам за мной ухаживал, мне казалось, он будет скучен как осенний дождь. Кто знал, что он окажется таким горячим? Но ему я сказала другое: «Наверно, тебе ещё и потому так хорошо теперь, что всё это произошло под носом у твоего соперника». Он спросил: «Ты жалеешь, что не вышла за меня?» А я ответила: «Нет, не жалею».

Я на самом деле ни о чём не жалею. И рассказываю я об этом не для того, чтобы поставить тебя в известность, и не любопытно мне видеть твою реакцию, просто мне очень приятно об этом вспоминать. Очень.

Бабушка скрупулезно вела своеобразные дневники, основу которых составляли наблюдения за развитием способности говорить у каждого из детей и внуков. К этому добавлялись бабушкины комментарии и описания текущих событий. Я хочу здесь привести некото-

рые выдержки из этих довольно объёмных трудов, чтобы дать представление о том, какова была бабушка, так сказать, непосредственно предоставив слово ей самой. Бабушка абсолютно лишена страсти к литературному украшательству, она точна как учёный, так что объективности изложения мы можем доверять. Если она описывала сцену и приводила чьи-либо слова, то в действительности всё так и было, и цитата верна. Если же бабушка была не беспристрастна, то оценки её весьма резки, и читатель может легко разъединить оценку и событие.

Прихожу домой и застаю такую картину: Марик стоит на столе и поливает сестёр из чайника. «Марик, что ты делаешь?» – «Я хочу, чтобы они быстрее выросли».

У Валерия опять любовница. Когда у Дмитрия (бабушкин старший брат) появлялась очередная пассия, Ирма надевала белый халат и шла к нему в лабораторию мыть посуду и смешивать препараты. Она была толковым лаборантом и очень ему помогала. Одного её появления было достаточно, чтобы разрушить очередной роман. Когда опасность проходила, она возвращалась домой и опять бездельничала. Спала до полудня, изобретала себе наряды, устраивала балы, мужем и детьми она не занималась. Но была начеку.

Что же мне теперь – ехать в заповедник, чтобы своим грозным видом устрашать девиц, которые на него вешаются? Мне некогда.

Жалко детей. Почти не видят отца.

Сняла дачу у Шуры в Нижней Курье. Не успели расположиться, Аська уже сидит на лавочке с соседским мальчиком татарского типа. Очень красивый мальчик, но крестьянин. Легкомысленна без меры. Катя не такая. До сих пор не может забыть свою первую любовь, погибшего одноклассника. И училась на физмате, столько парней кругом, умницы, талантливые, из интеллигентных семей, а замуж не вышла. Сейчас вот едет по распределению в какую-то тьмутаракань. Останется в девках. Или найдёт там себе какого-нибудь пролетария.

Марк женится. Это я организовала этот брак. Аська привела девочку-первокурсницу. Пожалела – той негде жить. А комната Марка свободна. Я стала в каждом письме Марку писать о том, какая плохая у меня квартирантка: «Вот Катя – умная, энергичная, а Маша – тихоня, Ася – общительная, весёлая, у неё столько друзей, увлечений, а Маша – домоседка, серая мышка, всё что-то по дому возится», и всё остальное в таком духе. Марк приехал, ему открывает девушка милоты необыкновенной, «Ты кто?» – «Я – Маша», – всё было решено в одну секунду. Мой план сработал.

И что он мучает ребёнка? Педант! Ребёнок шесть часов сидит в школе, потом приходит, успевает только поесть – и опять за уроки. Тот приходит вечером, снова садит её за уроки и мордует до двенадцати часов! Я раз приду – лекарство дать, два – напомню, что завтра вставать рано, у неё уже глаза слипаются, вся бледная, взрослый не выдержит – по двенадцать часов умственного труда! Три приду – напомню, что уже одиннадцатый час, уйду, он дверь за мной запирает. Я стала в дверь стучать, пригрозила ему, что позову соседей, пусть выломают дверь, полюбуются, как он истязает ребёнка! Ослиное упрямство! Он её заставляет решать задачи! Да что она может соображать после двенадцати часов сидения за столом?!

Никто мне не верил, что в Ленинграде можно вылечить астму. Отец был против, он вообще тяжёл на подъём, а я знала, что надо что-то делать. В Перми я уже обошла всех врачей, обращаться уже было не к кому, а улучшения не наступало. Правда, меня смущало то, что у Кати однокомнатная квартира, как мы там все? Ну, ничего, здоровье ребёнка важнее. Я не стала никого слушать, схватила ребёнка в охапку и увезла. И я, как обычно, оказалась права.

Промелькнула мать. Но я не дала ей встретиться с ребёнком. Только поманит, растревожит и упорхнёт по своему обыкновению. А я буду расхлёбывать эти истерики, капризы, слёзы, тоску. Да, надо признать – опыт по приживлению в Ленинграде не удался. Девочка плохо переносит разлуку с домом. Скучает, мечется и твердит одно: «Я хочу домой, к маме, к папе».

Маня Ладная мне плешь проела своими жалобами на Ладного. Да, он мой протеже, это я его на кафедре оставила, я вообще оставляла только мужчин, потому что женщины всегда предадут. Хотя в Кобыльникове я ошиблась. Ошиблась. Тот ещё оказался негодяй. А Ладный – умница, моя правая рука, молодой, а уже докторскую защитил, хороший человек, обаятельных мужчина, правда, ростом маловат, ну, так это неважно. Такого мужа, конечно, надо держать. А Маня – красоты домашней, распустёха, всё у не из рук валится, ни обеда вовремя нет, ни порядка, ни кандидатскую даже не защитила, сидит, как клуша, в лаборантах! Да и ненормальная она, наверное, слишком заторможена. Так она мало того, что мужа упустила, ещё и дочь сбежала от неё! И какой надо быть матерью, чтобы двенадцатилетняя девочка убежала к отцу. А Алка такая решительная – села в такси и укатила. И на суде упёрлась: «Я хочу жить с папой». Ну, говорю, Маня, смирись, двенадцать лет – девочка большая уже, и к тому же такая самостоятельная, отступись, ведь не добьёшься ничего. Воспитывай сына.

Что же это на меня всё несчастные какие-то вешаются! Ведь всю душу вымотала: ноет и ноет. Да чем же я могу помочь? Я как буфер между ней и Ладным. У него логика, у неё стоны. Мне её жалко, но я на его стороне.

А Аська – халда, неряха, если б не я, грязью бы заросли! Только свистать. Он все: «порядок, порядок», а у неё вечно развал. Упустит Николая. Хоть и зануда, а всё-таки муж.

Я на этого ребёнка положила жизнь!

Привыкшая к противостоянию бабушка – отец, с одной стороны яростному, наступательному, щедрому не нелестные эпитеты, и молчаливо-оборонительному с другой, принимающая это как данность, я однажды была ошарашена отчаянным скандалом, который устроила бабушке моя весёлая, лёгкая, жизнерадостная и никогда не «заводящаяся» мама. Мы собирались кататься на лыжах, а бабушка ходила вокруг и непрерывно выдавала какие-то тирады, что для нас обеих было обычным фоном. Но тут, видимо, бабушка переполнила чашу терпения, перешла ту невидимую грань, за которой даже самый терпеливый и незлобивый человек срывается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.